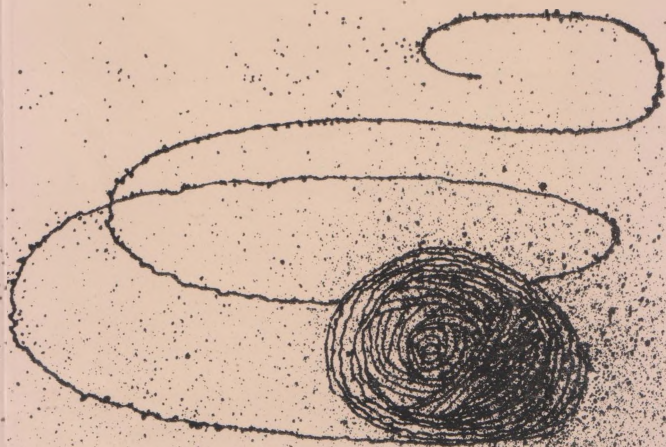




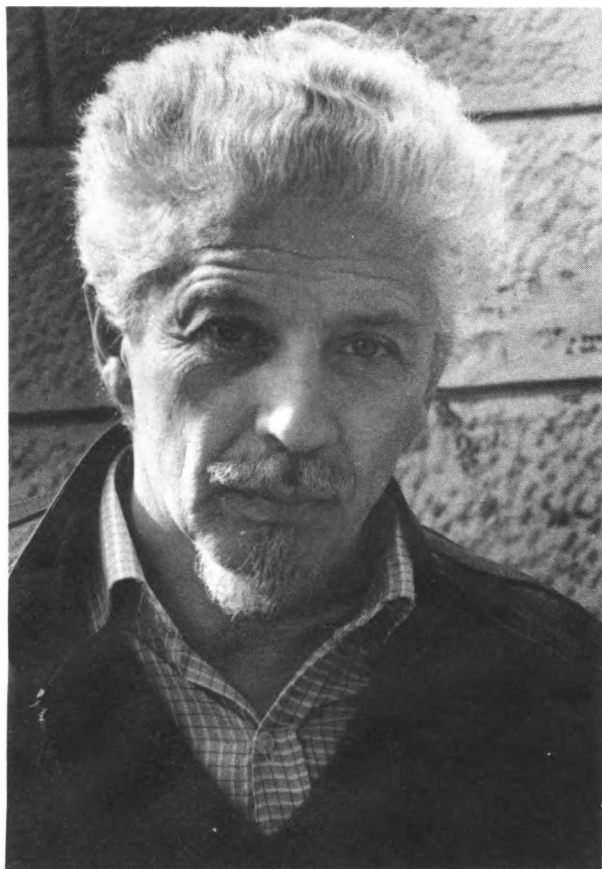
Феликс Кандель

СЛОВО
за
СЛОВО



Феликс Кандель • СЛОВО ЗА СЛОВО

Феликс Кандель
СЛОВО ЗА СЛОВО



ФЕЛИКС КАНДЕЛЬ

Феликс Кандель

СЛОВО ЗА СЛОВО



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ

1989

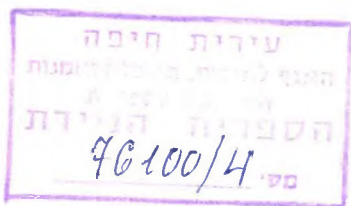
Printed in Israel

פליקס קנדל

עקב בצד אגודל

Felix Kandel

LITTLE BY LITTLE



Обложка и рисунки Т. Корнфельд

OCR Давид Титневский, март 2021 г. Хаيفا

ISBN 965-320-045-3

© Феликс Кандель

© Русское издание 1989 г. – "Библиотека-Алия"

ח.ד. 4140 ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר חפוצות ישראל, ירושלים.

אירגון הגיינט העולמי, ניו-יורק.

76100/4

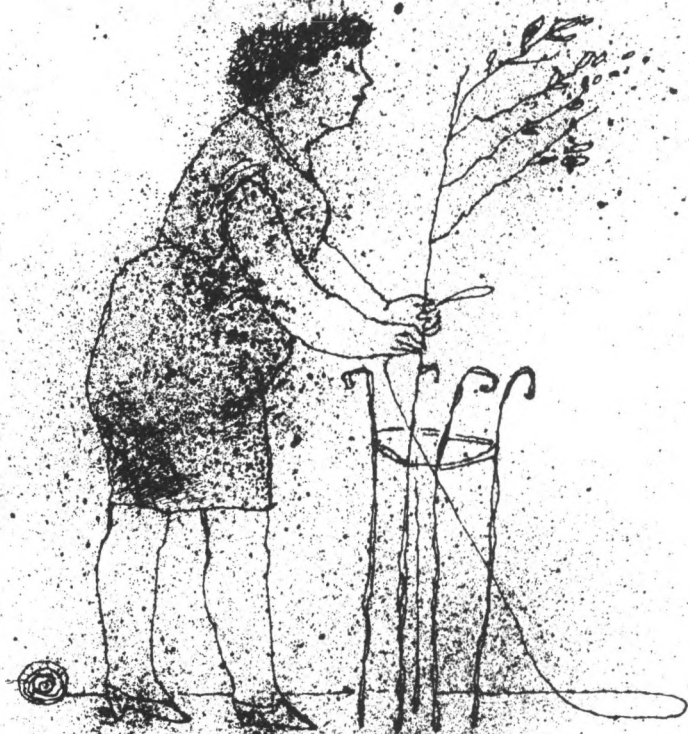
131

ОБ АВТОРЕ

Феликс Кандель родился в Москве в 1932 году. Закончил Московский авиационный институт, работал инженером-конструктором на заводе и в конструкторском бюро. С 1963 года – профессиональный литератор. В России писал рассказы, пьесы, повести, сценарии мультипликационных фильмов. Печатался в "Новом мире", "Литературной газете", "Неделе" и в других изданиях. С 1977 года живет в Иерусалиме, работает в русской редакции израильского радиовещания "Кол Исразль". Публиковался в журналах "Континент", "Грани", "Сион", "22", "Время и мы". На Западе изданы его книги: "Зона отдыха", "Врата исхода нашего", "Коридор", "Первый этаж", "На ночь глядя", "Люди мимоезжие" и "Очерки времен и событий. Из истории российских евреев". В Израиле, Франции и Швейцарии книги Ф. Канделя переведены на иврит и французский. Ф. Кандель – лауреат трех израильских литературных премий.

ЧАСТЬ I

РАССКАЗЫ ИЗ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА



1

Скорее всего, Абарбарчук был евреем.

Так я теперь думаю.

Или представителем вымирающей народности.

Сейчас этого уже не проверить, но сомнения остались.

Дюжий, ражий, нос наперевес.

Он появился где-то там, в прошлом, в сорок каком-то послевоенном году: в сапогах-галифе-портянках, с офицерской планшеткой через плечо и с такой чудовищной щетиной на щеках, будто скосили на них по осени яровые и осталась засохшая стерня — жесткая, колкая, густо-несминаемая.

Может, он был пришельцем с иной планеты?

Еврей-пришелец, — а почему бы и нет?

Многое тогда объяснимо...

— Милочка, евреечка,

Скажи, которо времечко.

— Времечко девятый час,

Идем на станцию чичас...

В нашей школе он работал военруком. Военным руководителем. Наставником подрастающего поколения. Заставлял нас маршировать и отдавать честь, примерять противогазы и разбирать затворы, — какого черта он выплыл в моей памяти тут, в Иерусалиме?

Кроме того, он был парикмахером.

Стриг, брил, поливал без разрешения вонючим одеколоном — для прибавки к зарплате.

Ах, Аббарбарчук, Аббарбарчук, парикмахерская твоя душа!

Томный взгляд, пробор на кудрях-воланах, гитара с бантом:

— Ты рассейска вольна пташка, воспремильный соловей...

Нет, он не был парикмахером, это я все перепутал, — дурацкий дурак, идиотский идиот, кретинский кретин!

Он сидел в кресле, в парикмахерской на Арбатской площади, укутанный по уши в белую простыню, и кто-то колдовал над его буйной порослью, — а я ждал в очереди.

Еще ему — подстригали волосы в ушах.

Оттого и зацепилось: Аббарбарчук — парикмахерская — белый халат — удушающий запах цветочного одеколона.

Он не был парикмахером, как я теперь понимаю, да и евреем — сомнительно.

Аббарбарчук? — а впрочем...

Он был Золушкой, да-да! — многое тогда проясняется.

Золушка Аббарбарчук.

В двенадцать часов ночи, с последним ударом курантов Золушка меняет свой пол...

Он появился в нашей школе в несытом еще сорок каком-то году, но орденов не носил и нашивок за ранения — тоже. Был ли он контужен, был ли он списан по болезни, был ли он дезертиром — был ли он?

Аббарбарчук.

Дюжий и ражий...

Он ехал на машине, уцепившись за руль, и встревоженным глазом новичка оглядывал встречные знаки: "Поворот налево", "Остановка запрещена", "Крутой уклон".

И вдруг знак! Незнакомый! Черное, и кукиш беленький.

Встал.

Забоялся.

Спрашивает у деда на приступочке:

— Дедушка, это что за знак?

— А это, чтоб ты знал, — "Конец жизни".

Заглох:

— Чьей?..

— Твоей, — чьей еще?

— Тогда я не поеду под него. Я развернусь, дедушка.

— Давай.

Развернулся — и сзади знак. Черное, и кукиш кверху.

— Деду, и там конец?

— И там.

— Чего же теперь делать?

— Чего делать? А ничего не делать. Душой возносись.

— А как, дедушка?..

Чуть не позабыл: Абарбарчук не отбрасывал тени. Или тень не отбрасывала его. В любом случае это было подозрительно и наводило на размышления.

Он выстроил нас на асфальте, на припеке перед школой, браво ступил вперед чищеным сапогом и крикнул на всю улицу, к восторгу местных старушек:

— Здравствуйте, товарищи школьники!

А мы, шпана мелкозубая, арбатская, смоленская, пресненская, шептуны, сморкуны и завиральники, рывкнули дружно в ответ, к ужасу тех же самых старушек:

— Хайль Гитлер!

Дальше — провал.

Захочешь — не вспомнишь.

Память отказывается служить дальше и старательно подсовывает взамен фактов накатанные глупости сюжетов.

Его арестовали.

Его погнали из школы.

Он выгнал нас.

Мы повинились.

Он не перенес позора и застрелился из трофейного парабеллума.

Глупости! Откуда у пришельца парабеллум?..

Если уж он контужен, так пусть ходит по электричкам, из вагона в вагон, тянет руки, трясет головой, косит наглым глазом:

— Братья и сестры! Пусть каждый поможет, кто сколько может! Беру рублями, беру слезами, беру сочувствием...

Больше я о нем ничего не знаю. Не помню. Не пересекался путями. Он запирался в своем кабинете от настырных взглядов, кипятил на плитке воду, швырял туда промерзшие пельмени с мясом, чтобы закусить после стакана водки, — но это уже директор школы, хромоногий горбыль, это не Абарбарчук. У того не было своего кабинета, да и он, скорее всего, не пил в школе — чтобы не застучали.

Он был интендантом в лучшие времена, так мне порой кажется: капитан Абарбарчук, сапоги с подскрипом, — и возил в армейских тылах вагон винограда — к скорой победе.

Виноград был переложен стружкой и брусками льда, и на встрече с американцами Абарбарчук блеснул вдруг своим неслыханным сюрпризом.

Роскошные "дамские пальчики" — под армянский коньяк: сам маршал Жуков пожаловал ему орден.

Он носился на виллисе, с автоматчиками, — бравый капитан Абарбарчук, по завоеванной Германии, — а потом все кончилось: гражданка, поиски работы, неприкаянные друзья с пугаными глазами, бесконечное до озноба слово — кос-мо-по-ли-тизм.

И танком прошла по нему жизнь...

Он торговал эмоциями, бедный Абарбарчук, эмоциями вымершей народности, — не пропадать же добру, — а с этого не ожиреешь.

Помню, он выстраивал нас в школьном коридоре и командовал, играя голосом:

— Через вестибюбель! С песнями! Арш — два — арш!..

Хотя нет, это был не он и не там. Это полковник Довгань, в институте, лысый и лаковый, — отдельный о нем рассказ.

Довгань годился Абарбарчуку в отцы.

Отец — Довгань, сын — пришелец...

Мы лежали под навесом, на штабелях из авиационных бомб, и курили потихоньку, в кулак, чтобы не застучали командиры. Самолеты улетали по заре на учения, бомбить болота в белорусских лесах, техники заваливались под брезент досматривать сны, а он приходил к нам, под навес, инженер эскадрильи: пуганый, облеченный полномочиями, которых не снести.

— Я понимаю, — говорил он. — Я все понимаю. То же учил. Жуковский. Крыло с профилем. Сверху скорость больше, снизу давление: подъемная сила, — это я все понимаю. — И косил замученным глазом: — Но как эта стерва, эта сука, эта падла — сто тонн с довеском! — он уже кричал, пуская пузыри, — как она на воздухе держится, почему не падает, — этого-я-не-по-ни-маю!!.

И курил потом долго, жадно, со стоном, пепел сбрасывая на бомбы, словно участвовал в каком-то мерзком надувательстве и не мог из него выскочить. Вот-вот раскроется обман, и попадают с неба самолеты: Жуковский умер, ему что, — а инженеру отвечать...

Мы тогда похохатывали над ним. Чего там сложного? Жуковский. Крыло с профилем. Подъемная сила. Технарь-тупарь!.. Теперь я гляжу на простенький калькулятор, что лежит у меня на столе, и брови поднимаю горестно. Как же эта сука, эта падла, эта стерва японская так быстро перемножает?! Как же она синусы выдает, проценты с косинусами, даже не

задумавшись?! Впихнули в каждую коробку по крохотному головастому японцу-математику, — вот он и соображает на скорости, народу на обалдение: японцы — они могут!

Но причем тут Аббарбарчук?

Аббарбарчук-сан.

Ведь он же не был японцем.

Евреем, — и то сомнительно.

Разве что галифе, как у инженера эскадрильи...

Светлана и Людмила — офицерские жены.

Николай и Виктор — их мужья.

У них была игра, у летчиков-технарей, со скуки аэродромной сытости, розыгрышей, политзанятий и анекдотов, бешеных гонок по ночам к далекому полустанку, где проводники скидывали с переплатой — водку ящиками. По понедельникам, после загульных воскресений, им не доверяли технику, а держали в классах, пыльных и затхлых, и накачивали политграмотой. Сонные, вялые и тупые, они накрывали ладонью часы и шептались через проход, не прерывая занятий:

— Махнемся, не глядя?

Кому доставались золотые, кому штамповка, кому — циферблат без начинки: народу на радость.

Ах, Аббарбарчук, Аббарбарчук, ну почему ты всплыл вдруг в памяти, как пельмень в кипятке, ночью, на продувной иерусалимской улице, когда я подрагивал от сырого озноба, а Кекс таскал меня на поводке от дерева к дереву и никак не желал опростаться?

Если ты не еврей, Аббарбарчук, то что тебе делать в Иерусалиме?

— Махнемся, не глядя? — сказал Аббарбарчук без интереса и зевнул со скуки.

И мы махнулись душами...

Кто видел, как бегут слепые?

Я видел, как бегут слепые.

Не дай вам Бог увидеть такое!

Они откидывают плечи назад, они отворачивают голову вбок, они высоко забрасывают колени – вот как бегут слепые.

Их бег не вперед, а вверх. С большим наклоном назад.

Чтобы не удариться лицом о стенку. Чтобы не споткнуться о камень. Чтобы не упасть с разбега в канаву, которая на пути.

Им страшно, слепым, им жутко и беспомощно. Будто циркуль – врастопырку – караулит их своими остриями. Будто финишем – на уровне слепых глаз – станет им безжалостный никелированный циркуль.

Я стоял на ветру – скорчившийся, продрогший, продутый насквозь и заледенелый, вцепившись скрюченными пальцами в железные прутья решетки.

Там, за забором, на подмосковной станции Болшево, где разлито по закрытым дачам упоительное чувство избранности, виднелся дом на пригорке, обсаженный деревьями, школа-интернат для слепых. Перед домом – травяная площадка-стадион, и слепые мальчишки – слепые, не зрячие, сдавали там нормы по бегу. Метров пятьдесят им было бежать, метров пятьдесят, не больше: бесконечные метры в темноте.

Командовал этим делом маленький, упитанный мужичок-физкультурник в шерстяном тренировочном костюме, сдобный и румяный от вечного безделья и неограниченной казенной пищи, остатки от которой, недоеденные персоналом, сваливали на прокорм пороссятам.

– Направление! – кричал он с финиша бодрень-

ким тенорком, и очередной мальчишка на старте вытягивал в его сторону покорную руку.

— Пошел! — кричал он, и тот бежал.

... Так-так-так, — покрикивал деловито, чтобы не отклонялся — выходил прямо на голос.

Бег в темноте, — кто это может?

Зажмурьтесь и попробуйте, — вытянув руки, вскидывая ноги, ухом вперед, чтобы слышать команду, на каждом шагу перепрыгивая невидимые ямы, от ужаса переходя в галоп, лишь бы поскорее закончились эти проклятые метры.

— Так-так-так, — покрикивал, как подстегивал, румяненький мужичок.

И снова:

— Направление!

И снова:

— Пошел!

И снова:

— Так-так-так...

Я стоял на ветру час, не меньше, позабыв про время, про дела, про ноги свои заоченелые. Я стоял у железного забора, как у клетки, — снаружи ее или внутри? — и стонал, и тосковал, и плакал непролитыми слезами. Холодно было мне — ах, как холодно! — в нежданном моем прозрении. Страшно было мне — ах, как страшно! — в мгновенном моем озарении. Это я, те слепые, — я, это я! — что бежит раз за разом, в темноте, в слепоте, в погоне неизвестно за чем, под случайные окрики равнодушных командиров.

— Направление! — кричат мне всю мою жизнь.

И я покорно вытягиваю руку.

— Пошел! — кричат мне.

И я бегу.

— Так-так-так! — кричат.

И я ориентируюсь на голос.

Кто он, что знает истинное направление?

Кто они, что подстегивают нас?

Боги? Дьяволы? Возомнившие о себе слизняки?..

Бежишь от себя вечно, бежишь бодро-весело на чей-то призыв, веря поначалу и надеясь, спотыкаясь и падая, расшибая о камень колени, в кровь разбивая лицо о стенку или об услужливо подставленный кулак, что подстерегает тебя в темноте.

— Так-так-так...

И снова:

— Направление!

И снова:

— Пошел!

Снова и снова...

От светлой любви и от легкой влюбленности, от зова трубы и шелеста обманных знамен, от зажигательных речей и случайных кличей ты возвращаешься однажды понуро назад, к себе, в себя, в дом свой опустелый, что ждал тебя терпеливо все это время. И остаешься один, и наслаждаешься отдыхом, покоем, самообщением, прохладой чистого помещения... но вот уже засосало потихоньку, промелькнула первая грусть одиночества, тоска по несвершенному, отчаяние от напрасно утекающего времени, и — куда? зачем? ради чего? — ты бежишь от себя по первому зову трубы, за первыми глазками прелестницы, по случайному мановению равнодушно-плакатной руки. И снова, нахлебавшись, насытившись, наглотаившись, извозившись по уши в дерьме, ты возвращаешься в который уж раз назад, в себя, в себя как в спасение, будто под очистительный душ, чтобы смыть липкие взгляды-прикосновения, чтобы протереть уши от скопившихся там призывов, и приживаешься в доме своем, таком прохладном и чистом, и укладываешься уютно, как на ночь, под маминым пуховым одеялом, и тебе уже покойно, покойно и удобно: один покой нам дан — в самом себе. Не надо притворяться, не надо играть в чужие игры и нравиться другим, и умно беседовать, и поддакивать, и подмигивать, и терпеть фамильярности пош-

ляков, и отделяваться глубокомысленными междо-
метиями: не надо, ничего этого не надо. Но берегись!
— при очередном возвращении ты можешь не обна-
ружить дома своего, или иссякнет живительная во-
да из-под душа, или объявятся в родных тебе окнах
торчащие рыла ненавистных постояльцев.

Берегись! — ты хотел этого.

— Направление! — давно уже кричишь сам себе.

— Пошел! — кричишь.

— Так-так-так!

И ориентируешься на собственный окрик...

3

У старика Талалая была дочка.

Фрида.

Он ее любил.

Она съела кусок мяса.

За ужином.

Он ее простил.

Хоть и нарушила закон, смешала мясное с молоч-
ным.

Старик Талалай был хил телом и силен духом.
Старик Талалай был беспощаден к себе и лучист к
другим. Он не был Богом, старик Талалай, чтобы
требовать, указывать и карать. Он дожил на едином
дыхании до девяноста семи невозможных лет, а пе-
ред смертью сказал, как хоронить, сколько дней тра-
ур, что читать, кому и когда. Умер без болезни, не
мучаясь, просто остановилось сердце, как кончился
завод.

Теперешние так не умирают.

Его похоронили на кладбище, на лобастой горе,
что нависла над дорогой, и было десять мужчин, как
положено, и правнук читал каддиш, и у распорядите-
ля похорон торчала в руке говорилка с антенной. Он
переговаривался с кем-то по ходу дела, этот распо-
рядитель, будто докладывал Господу Богу, что Та-

лалай уже отправился в путь и пора готовить оркестр для встречи и открывать ворота. Талалай заслужил...

Фрида отгоревала после похорон положенные семь дней, а к ней заходили соседи и отвлекали разговорами.

— Вам это будет интересно, — сказала интеллигентная Хана. — Из полезных советов. В "Русской мысли" написано, как покупать сельдь в магазине.

— Как покупать сельдь, — повторила Фрида без вопросительной интонации, иначе это было бы неприлично в дни траура.

И Хана прочитала с выражением:

— "При покупке в магазине свежей сельди прежде всего убедитесь, что она по-настоящему свежая. Для этого загляните сельди в глаза: если глаза красные, значит, она свежая".

— Загляните сельди в глаза, — повторила Фрида. — Если глаза у нее красные, быть может, она плакала перед смертью?

И пустила слезу на ворот...

Интересное дело! Откуда у Ханы, в Москве, парижская газета "Русская мысль"?

И почему ее зовут Ханой, а не Анной Семеновной?

Дураки дурацкие, идиоты идиотские, балбесы балбесские! — пора бы уж догадаться, что Фрида живет в Иерусалиме.

У нее квартира окнами на Бет-Лехем.

У нее солнечный бойлер на крыше.

У нее фотография на стене — небритый мужчина, дюжий и ражий, с таким выдающимся носом, будто это не фото, а барельеф.

У нее сосед, у Фриды, над головой — неопознанной национальности.

Идиш он не знает. Русского он не знает. Фрида Талалай в сомнении.

Уж не пришелец ли?..

А мужчина со стены только смотрит на Фриду, и подсказать — не в силах.

Мужчины – они такие глупые...

Фрида отработала всю жизнь, в артели и на дому, кроила лифчики на заказ – размером с авоську, кроила картузы – с грецкой орех. Обладатели нестандартных тел, набегавшись без пользы по магазинам, обращались за помощью к Фриде, и она не отказывалась.

С заказами было хорошо, и этот, носатый, помогал по вечерам, когда был завал. Путался. Искалывал руки иголками. В сердцах говорил слова, которые Фрида знала, но не понимала. Портил индивидуальную продукцию.

Скроил картузы размером с авоську.

Нашил козырьки на лифчики.

Настрочил кепки из розового батиста взамен бюстгальтеров: и там, и там – клинья.

Мужчины – они такие путаники...

В два часа ночи он выходит на лестничную площадку, укладывается аккуратно на холодную плитку и криком будит подъезд.

Днем спит – ночью кричит.

У него рубаха до пупа. У него цепочка на шее. У него такие короткие шорты, что проглядывает декольте на зад.

– Я великий! – кричит он на древнем языке. – Я неповторимый! Я не могу прожить на одну зарплату!..

И стучается головой о плитку.

Уж лучше бы он ходил по электричке, из вагона в вагон, потрясал протезом, грозил культей, гнусавил через редкие зубы:

– Не отдай, папаша, замуж, я молоденька горазд...

Вмиг бы насобирал на бутылку.

Он лежит на лестничной площадке, а жена его спрашивает из квартиры, позевывая:

– Кофе тебе сварить?

– С сахаром, – заказывает он и кричит дальше: – Я избранный! Я отмеченный Богом! Я не могу прокормить детей!..

Дети у него — в интернате, все трое, но дела это не меняет.

Сонный инженер Макарон выползает из квартиры и с ненавистью пинает его тапочком:

— Сейчас полицию позову...

И мучается потом от стыда: русский гуманист.

— Полицию! — кричит сосед. — Хочу в полицию! Позовите! Хоть кто-нибудь! У меня же нет телефона!...

Конечно же, он пришелец. Или представитель вымершей народности. Он хочет куда-то, к своим, но позабыл — куда.

И ломится в соседские двери.

Приезжает полиция, уводит его, довольного и умиротворенного, и все затихает до завтра.

У нее сосед над головой, у Фриды, занимательности чрезвычайной, — а она тоскует по соседке.

В двенадцать часов ночи, при пересечении государственной границы, Золушка меняет национальность...

Каждое утро, на кухне, та подходила к Фриде и шептала на ухо, не разжимая губ:

— Петренки возле моей двери занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.

И уплывала к себе: старуха-толстое брюхо.

Ее комната выходила на кухню. Это ее унижало, и это ее угнетало. Весь чад шел к ней, запахи газа, брэнчание кастрюлек, соседские пересуды с тараканами. Двадцать семь бесконечных лет она просила, чтобы замуровали эту дверь и пробили проход в другую квартиру. Двадцать семь лет ей отказывали.

— Я в садике как управляюсь? — кричала на кухне воспитательница Петренко и голосом прошибала стенку, ковер, два одеяла, накинутую на голову подушку, ватой забитые уши. — Я в садике так управляюсь. Откроешь форточку пошире, просквозишь сопляков — назавтра благодать, половины нету...

Она не разговаривала ни с кем, старуха-толстое брюхо. С одной только Фридой. И то шепотом. Вы-

скакивала на кухню из комнаты-засады мохнатым пауком, пузатая, проворная, остроглазая, хватала цепко, утаскивала к себе и оплетала разговором, высасывала новости и слухи, отбрасывала пустой шкуркой, сидела потом взаперти, переваривая услышанное. И выскакивала снова назавтра.

Когда принимала душ, надевала старые галоши, чтобы не становиться в ванну босыми ногами. Эти Петренки и в ванной занимались тем, чем положено заниматься в спальне.

Спальни у Петренков не было.

Петренки жили в крохотном закутке с замужней дочерью и внуками и, естественно, ходили порой в ванную по личным неотложным делам.

Бог да простит Петренков!

Но старуха никого не прощала.

Летними месяцами она подрабатывала в парке культуры, сидела на контроле в комнате смеха и страстно ненавидела весь этот хохочущий, гогочущий, икающий и рыгающий от наслаждения мир Петренков — кривой, косой, растянутый глистой, сплюснутый и коротконогий, что отражался в ее замечательных заркалах.

— Что ты хочешь? — говорил на это старик Талалай. — Она не вышла еще из блокады. Ее понять надо.

Старик Талалай говорил мало и коротко, чтобы не отрываться от Книги. Бог даровал Талалаю долгую жизнь, чтобы он мог начитаться, и Талалай читался всласть.

— Я ее понимаю, — говорила в ответ дочь его Фрида. — Кто только меня поймет?

Старуха-толстое брюхо написала письмо. Заказное. Высокому начальству. "Так, мол, и так, имея опыт голодной блокады, чтобы улучшить жизнь и прибавить питания народу, предлагаю делать варенье из зеленых помидоров. Вкусно. Дешево. Я пробовала. Чай, хлеб с вареньем — вот и еда".

Долго не было ответа. Месяц, пожалуй. А то и три. Думали, наверно. Решали. А может, варенье варили на пробу. Потом пришел конверт — "Правительственный". "Уважаемая гражданка! Большое вам спасибо за заботу. Но сейчас уже не те времена, война давно прошла, жить стало легче: варенье из зеленых помидоров делать теперь не стоит".

Позвала Фриду.

Заперла дверь от Петренков.

Показала письмо.

Поахали — пощупали — почитали, потом выпили чайку с вареньем из зеленых помидоров. Намажешь на хлеб — вот и еда, пенсионеру прибавка.

Когда Фрида поехала в Иерусалим, та спросила с натугой:

— Там хоть газ-то есть?..

Попили опять чайку. Поели Фридин торт. Откушали напоследок варенье из зеленых помидоров.

Ночью, с огорчения, старуха прорубилась через стену, в соседскую квартиру.

Без разрешения. Без инструментов. Одной только яростью и тоской.

А у соседей, за стеной, та же кухня. Только потеснее, погрязнее и тараканов побольше.

И стало у нее два выхода.

Два выхода на две кухни...

Фрида теперь в Иерусалиме.

Дети отдельно.

Внуки навещают не часто.

Выходит вечером на автобусную остановку, садится на лавочку, оглядывает переливы огней внизу, редкий народ.

Город затаился в ночи. Город перемигивается спронежия огнями. Холодом тянет с далекого неба, холодом тянет от города, будто нет ему дела до Фриды, а на рассвете — глядишь — раскинулся на виду, разметался по холмам во сне: доверчивый и прекрасный.

Фриде грустно по вечерам.

Фрида тоскует на лавочке.

Временами Фрида отбрасывает две тени: свою и Абарбарчука...

4

– Ваня, – сказала она категорически. – Для спанья время от Бога присуждено – полдень.

– Это кто постановил? – спросил он.

– Мономах.

Было стыдно.

Они только женихались.

Тахта звала к себе новой хрустящей простыней, купленной на скорую свадьбу.

– Как скажешь, Анечка.

И она забеременела.

– Ты не для меня создан, – говорила она в дреме.

– Слишком уж это расточительно. Ты создан для всех женщин. Чтобы взрывались с тобой в радости и опадали в печали. Но я тебя никому не отдам.

– Как скажешь, Анечка.

Так его и прозвали...

”Города Олонца поп Иван Окулов, собрав охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж в швейскую границу, и на тех заставах шведов побил многое число, и взял рейтарское знамя, барабаны, и шпаг, фузей и лошадей довольно...”

На этом она остановилась и пошла из архива в декрет.

Рожать сына Вову.

– Как там Владимир Иванович? – спрашивали сослуживцы по телефону. – Проклевывается?

– На выходе, – отвечала она. – Скоро уже обещались.

– Кончай, Анька, – кричал начальник. – У меня работа стоит.

И она родила досрочно.

Родила Ване сына Володю и на том остановилась.

— Хватит, Ваня. Меня в архиве ждут.

— Как скажешь, Анечка.

И тряхнул рассыпчатыми кудрями.

Ваня Рыбкин. Воронежская порода. Нос пуговкой. Глаза голубизной. Скулы наружу. "Как скажешь, Анечка".

Он работал на большом заводе, под Москвой, главным диспетчером, и за его спиной — в беспокойные времена — схоронилась вся ее семья. Кого пристроил в цехе, кого прописал в пригороде: все Коренблиты оказались при деле. Перетерпели космополитизм. Передражали "врачей-убийц". Пересидели Хрущева с его сомнительной оттепелью: из-за Вани лучше не высываться.

Не так скажет, да так сделает...

Сын Вова вырос тихим, задумчивым, для окружения странным, — и не скажешь в кого.

В метро, в первом вагоне, через процарапанное матовое стекло глядел неотрывно вперед, как набегали в полутьме рельсы, жгуты по стенам, редкие фонари, и как наплывала очередная станция — светлым мраморным пятнышком в конце туннеля.

Сын Вова вырос, уехал первым, как в темный туннель, и писал оттуда редкие письма.

"Тремп", "узи", "фалафель" — трудно понять.

— Поехали, Ваня, — сказала Анна Семеновна. — Разберемся на месте.

— Как скажешь, Анечка.

На парткоме рты разинули от потрясения:

— Ваня! Да ты что?! Рехнулся? Иди проспись! Вот тебе — твоё заявление, и чтобы не вспоминал больше.

Он встал со стула, коротконого-устойчивый, но на пороге замешкался:

— Как Анечка скажет...

Ваня у Анечки умер, пока ждали разрешения на выезд.

Ваню сожгли в крематории. Пепел ссыпали в ва-

зу. Вазу поставили в шкафу, на полку со шляпами. И Анечка осталась одна.

Сын Вова писал теперь совсем редко и подписывался почему-то — Зеэв.

”Браха”, ”тфилла”, ”мезуза” — понять невозможно.

Зеэв Рыбкин.

— Ничего, — говорила Анна Семеновна в сторону шкафа. — Приедем — разберемся.

”Как скажешь, Анечка” помалкивал посреди шляп.

— Ишь, сколько чемоданов накопила! — сказала соседка напоследок. — Крадут себе да вывозят, вывозят себе да крадут, — а ты тут бедней из-за всяких!

— Ваня, ты ее не слушай...

На таможне была проверка.

Вазу решили проверить на таможне, не вывозит ли тайком брильянты, которых у нее сроду не было.

Анечка поставила вазу на движущуюся ленту. Ваза уползла внутрь, чтобы просветиться на экране со-держимым. Анечка закрыла глаза. Ваза выползла по ту уже сторону. Можно ехать в туннель...

Сын встречал в аэропорту.

Зеэв Рыбкин.

Хасид.

В черной шляпе, в черном костюме, в черных башмаках.

— Вова, — сказала она ему, — это траур по папе?

— Это траур по Храму, — ответил Вова. — Который разрушили гои двадцать веков назад.

И они поехали в Иерусалим.

Это оказался и не город вовсе.

Богом надышанное пространство.

Ему и люди не нужны, и дома с машинами, и время текучее: разрушь все — Иерусалим останется.

Понять этого нельзя — только притронуться: мурашами по спине...

В Иерусалиме Хана зашевелилась, зашебурилась тут же, чтобы тоже надышать заново отведенное ей пространство.

Картиночки по стенам.

Книги по полкам.

Цветочек в углу.

То, прежнее, ухоженное пространство осталось позади.

Надышано было за жизнь — не вобьешь больше.

Как писали в хрониках: "Дружина вбивала полки в город"...

Интеллигентная Хана знала про те хроники, историю той страны с ее стариной — профессионально, не как-нибудь, но не знала страну эту.

Пришелец.

Представитель вымирающей народности.

Русская-русская-русская-русская еврейка.

Как северо-северо-северо-северо-восток.

— Чудно, Ваня, — говорила ему на могиле. — Вот бы и ты поглядел.

"Как скажешь, Анечка" молчал под плитой.

Ему бы теперь могилу, травой обросшую.

Ему бы сирень — гроздьями над крестом.

Ему бы — "Твой есмь аз, спаси мя"...

Буквы "ы" нет в здешнем алфавите.

"Б" и "в" — одна буква.

"Иван Ривкин" — выбито на иврите.

И камушки на плите — с поминания...

В Иерусалиме, в магазине всяких разностей, хозяйничал за прилавком Куракин, старик Куракин, из тех самых Куракиных, что хоронились от времени в ее прежних архивах.

— Петербург знаешь? — спросил на иврите Куракин-сын.

— Знаю, — сказала Хана, специалист по источникам.

— У нас там имущество.

— Да что ты!

А сама припомнила не без трудности:

— Курака. Он же Куракин. Князя Куракины пошли с шестнадцатого века от князя Андрея Васильевича Патрикеева...

Когда-то она гордилась тем, что не умеет готовить.

Для интеллигентной женщины — это простительно.

— Ваня, попьем молочка, что ли?

— Как скажешь, Анечка.

Но на старости опростилась, отрастила брюшко с подбородком, стала жалеть упущенные по глупости возможности.

— Что я готовила?! Чем я его кормила? Как он терпел, царствие ему небесное?!

Но кормить уже некого.

Хасид Вова не обедает у мамы.

Мама не соблюдает кошер.

Вова учится в иешиве, подает надежды, и пейсы у Вовы такой длины, какие видела Хана только в архивах, на старых литографиях, когда занималась девятнадцатым веком.

Скоро уже.

Совсем близко.

Рабби Зезв Рыбкин.

У Зезва жена беременна, детей — пятеро, кошерная в доме пища.

Внуки — все пятеро — в гостях у бабушки не обедают, разве что печенье из особого магазина да воду из стеклянной посуды, — и русского совсем не понимают.

Для кого же тогда Курочка-Ряба, "Сорока-ворона кашу варила", "Ехали медведи на велосипеде"?..

— Бабушка, — говорят внуки на иврите, — почему ты ничего не знаешь, бабушка? Ни браху, ни тфиллу, ни киддуш шаббат...

Город внизу — чашей.

Город — в ладонях Божьих.

Белый. К вечеру розовый. К ночи прозрачный. Без

начала — вечный. Без конца — разный. Без забот — добрый. Без причин — грозный.

Хане — на утешение.

Ходят по улицам люди — со старых литографий.

Стоят синагоги, лепятся монастыри по склонам — с тех же литографий.

И названия вокруг такие — Вифлеем, Сион, Гефсимания: Анечка жмурится от волнения, будто сама попала в литографию, у Анечки с этого — перебои сердца.

— Я не люблю, когда плачут, — говорит Хана вечером, на лавочке, на автобусной остановке. — Я люблю, когда смеются. Я нахожу среди людей разных героев из книг. Вот я нашла тут Пьера Безухова: он теперь в доме для престарелых.

А Фрида в ответ, чтобы поддержать разговор:

— Он мне говорит: авокадо-то повкуснее. А я ему: картошка-то попривычнее.

И подкатывает автобус.

Открываются двери.

Выходит мужчина — не Рыбкин-Абарбарчук.

— Здравствуйте, Хана Семеновна.

Седой. Благообразный. Не в меру представительный.

Алик Сорокер. Интересный мужчина. Вдовец, пенсионер и ловелас.

Алик за Ханой ухаживает.

— От сына еду, — говорит Алик. — Из Тель-Авива. Хорошо устроился. Много зарабатывает. Свой зубо-врачебный кабинет. А люстра в квартире, как в Большом театре.

— Вы были в Большом? — спрашивает Хана.

Пауза.

— Как в Малом, — говорит Алик.

Фрида тут же зевает — довольно натурально — и уходит домой, чтобы не мешать молодым. А Алик подкатывается под бочок к интересной соседке и рассказывает в который уж раз, как спяна упал од-

нажды на Крымском мосту, седой и благообразный, а вокруг суетились прохожие и причитали: "Профессору плохо! Профессору плохо!.." Ему до сих пор лестно.

– Охо-хо, – говорит Хана, специалист по источникам. -- Он учтивым разговором нежно грудь мою встретил.

И идет спать.

По телевизору показывают сентиментальную бодягу на невозможном европейском языке, и Хана смотрит через силу, до самого конца. Языков Хана не знает и домысливает потому всюю. Целуются – любовь. Стреляют -- вражда. Бегут – погоня. Получается еще глупее.

– Дурацкий фильм, – бормочет Хана. – Одни дурацкие дураки смотрят такие фильмы. И балбесские балбесы. И болванские болваны.

А потом сидит в постели, грустная, поникшая, несчастная, и вздыхает неслышно:

– Что-то я давно посуду не била...

Посуду бить – к счастью.

А за стеной у Ханы инженер Макарон ловит по транзистору Би-Би-Си и "Голос Америки". Инженер Макарон привык за жизнь – трудно отвыкать.

А за другой стеной Алик Сорокер слушает станцию "Маяк", прогноз погоды на завтра: тоже привык за жизнь.

А за спиной у Ханы – Россия, за темным туннелем, близкая прошлым и далекая настоящим, и вести оттуда неясные, и слухи невозможные, и вываливаются порой из туннеля неожиданные пришельцы, пуганые, растрепанные, и слово одно у всех – Афганистан...

А потом была война.

Хасид Зезв Рыбкин ушел на фронт.

С севера привозили раненых, и вечерами, по телевизору, называли имена погибших и их возраст.

Каждый вечер. По столбику имен.

Хана плакала всякий раз возле своего телевизора, особенно когда говорили: восемнадцать лет, девятнадцать, двадцать, двадцать два, и опять девятнадцать.

В первую же субботу она пошла в соседний дом, и старый мужчина со слезящимися глазами открыл книгу и прочитал по-русски:

— Вначале сотворил Господь небо и землю...

"Надо проверить по источникам", — подумала Хана по привычке, и еще она подумала: "Вот бы, Ваня, и тебе послушать".

"Как скажешь, Анечка"...

На севере, на границе с Ливаном, возле пропускного пункта Рош ха-Никра сгрудились толпой грузовики с бронетранспортерами, ожидая отправки на фронт. Суетились вокруг дети, разнося воду, женщины у столиков готовили бутерброды, пышноусый распорядитель регулировал поток, а сбоку, у дороги, в кружок встали три танка, солдаты сидели на броне, свесив ноги, и стояла посередке старая женщина с веером в руке и перламутровым гребнем в волосах: давняя игрунья-прелестница. Женщина сложила руки на груди, как заправская артистка, глядела лучезарно выцветшими глазками и пела тоненько на непонятном языке, чтобы скрасить им ожидание:

— Ну а день за днем — он как дождь идет. А неделька за неделкой, как трава растет. Ну а год за годом, как сокол летит...

А они слушали...

5

И все-таки Абарбарчук был парикмахером.

Так мне опять кажется.

Душными летними вечерами он сидел у окна на улице, пил чай вприкуску и опивки сливал в аквариум, чтобы не ходить на кухню.

В аквариуме жили одни тепловодные, друг дружку не едящие. В жаркие времена весело резвились посреди растений. В зимние холода дружно висели возле лампочки подогрева. И тогда к ним, не подумав, подселили хищников. Создали кошмар в ограниченном пространстве. Сходу они сожрали по гуппии, по крошке-гуппии, а остальные малышки метались пока что в истерике в поисках выхода, которого не было. Проголодавшись, сожрали и их. Остальные рыбы были для хищников велики, и они стали есть что и все: дафнию, циклопов, мотыля.

Абарбарчук сливал опивки в аквариум. Вода в аквариуме неумолимо желтела. Рыбы со временем дохли, хищники и нехищники. Они опрокидывались на спины, как отдавались, и Фрида терялась в догадках.

— Что такое? — говорила Фрида. — Эти автобусы на улице медленно нас убивают.

— Меня убивают Петренки, — возражала блокадная старуха. — Петренки в общественном туалете занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.

И демонстративно проносила через кухню эмалированный ночной горшок, чтобы не пользоваться разным унитазом...

Белый халат поверху, сапоги с галифе, могучий нос и непробритые щеки, — бедный парикмахер Абарбарчук!

Он выстроил нас на припеке перед школой, мы пакостно проорали в ответ "Хайль Гитлер!", его вымели тут же поганой метлой, — потому он и работал в парикмахерской, на Арбатской площади.

Что я мелю?!

Парикмахер — это не он.

Это же Алик Сорокер — собственной персоной.

Пуганый и улыбчивый...

Бриолин на голову, галстук-бабочку, шелковый бант на гитаре:

— Ах ты, пташка-финарейка, востешай горе мое...

Не было у Сорокера гитары. И бабочки тоже не было.

Был у него зато список. Мелким почерком и на пяти страницах. Список людей, которым он делал добро, и как они ему за это отплатили.

Такой список хорошо почитать в постели, на сон грядущий, и если утром тебе хочется еще жить, значит, ты человек...

Ночью он бурно вдруг пропотел и тут же от этого проснулся.

Горела лампа.

Тень сидела на краю кровати.

Терпеливо ждала пробуждения.

— Все, — сказала тень. — Теперь или никогда. Ты мне веришь?

— Верю, — сказал Алик, не задумываясь.

— Ты меня боишься, — огорчилась тень, — потому и веришь. Но разве можно всю жизнь бояться?

— Можно, — сказал Алик.

Это было время, когда уезжали в Польшу.

Тайком.

По фальшивым документам.

А оттуда — через Средиземное море, опасным непролазным ходом.

— Я боюсь оставаться, — сказала тень. — Мне страшно. Надо использовать шанс.

— Когда камень падает на кувшин, — ответил на это Алик, — горе кувшину. Когда кувшин падает на камень, горе кувшину. Но оставаться все-таки привычнее.

И потушил лампу.

Больше он ее не видел, свою тень, и обходился уже так, без нее.

Иногда он подумывал на досуге, где же она теперь, в каких краях, чем занимается там, в апельсиновом мире, — но с фантазией было туго, время не приспело для фантазий...

Алик работал "бокс", "полубокс", "польку" и

отдельно еще "бритый бокс" — для полковников запаса: по бокам голо, а наверху — нашлепка.

Был еще "ежик", но это умели те, кто учился в двадцатые годы: "ежик" идет сзади машинкой.

Было еще "каре", долгий "ежик", как у императора Вильгельма: сзади ножницы и гребенка, но это умел один только Сапожков.

Один на всю Москву.

— Жизнь — великая забавница, — говаривал Сапожков. — Нервные умирают иначе, как другие. Триппер — в случае неизлечения деньги возвращаются обратно...

Радио в парикмахерской орало полную смену, но Сапожков его не слышал. Сапожков сам был радио. Сам для себя.

— Экипажная фабрика -- Арбатские. Доктор Фриденсон — психотерапия привычного пьянства. "Эдуард" — фабрика орденов, знаков и жетонов. А.Ф. Макарычев — склад ветчины...

Степан Евграфович Сапожков подкатывался неслышно, на полусогнутых, как обут в валенки, воздушно порхал над головой клиента, пахучий и свежесмытый, брезгливо косился на неряшливых мастеров. Страхивал невидный волосок, провожал до двери, привычно опускал в карман благодарственную мзду. "Приходите к нам по восемь раз на пятидневке". У него были постоянные клиенты. У него была очередь, когда никого не было к другим. У него были воспоминания. Парикмахерская "Алексис". Парикмахерская "Базиль". "Жорж". "Мишель". "Франсуа и Александр". В войну не было одеколона — весь выпили, а у Сапожкова, для постоянных клиентов, хоть залейся: "Шипр", "Красная Москва", "Магнолия" — "Ландыш". Чирикал ножницами, дирижировал гребенками, обласкивал пахучими салфетками, разговаривал исключительно сам с собой.

— Мыло молодости "Рояль-Бодлю". Одеколон цикламен "Лила-Флери". Пудра "Белоснежка" выс-

шего достоинства: остерегаться подделок. Борнотимоловое мыло против излишней потливости. Требования господ иногородних исполняются скоро и аккуратно...

Степан Евграфович Сапожков – волосочес-причесник: Алик Сорокер ему завидовал...

А за стеной у Алика шевелился по ночам Колобков – профессионал-перлюстратор, что жизнь целую прокорпел над чужими письмами, зрение потерял на ответственной работе, разбирая хитрые почерки: линзы – минус пятнадцать. Широленные штаны. Наглухо зашпиленный плащ. Белые, простоквашные глаза. Шляпа для пугала. "Люблю! – кричал во сне, лягая ногой жену. – Ждите! – просил. – Заочно крепко целую! – уверял. – Встречайте – привет всем!.." А то вдруг журчать начинал спросонья, в темноте, от ежедневных служебных упражнений и замусоренной эпистолярной памяти: "Здравствуйте, Маша, Лена, Марья Авдотьевна, чада с домочадцами! Во первых строках моего письма... чего и вам желаю..."

Алик Сорокер побаивался Колобкова безо всякой на то причины, хотя и был ручной, плюшевый, согласный на все, и не держал за собой особой вины.

Ведь он даже не отбрасывал тени!

По вечерам за стеной разучивали гаммы. На трофейном аккордеоне. Это перлюстратор Колобков изо всех сил тянулся к мировой культуре и за уши тянул сына Сашу.

Аккордеон был огромен. Как хороший несгораемый шкаф. Его привязывали к Саше ремнями, суздами на спине, и не снимали, пока тот не сыграет урок. Саша разбежался по длинному коридору и стучал аккордеоном об стенку. Болели ребра. Перехватывало дыхание. Отдавалось в голове. А он, проклятый, не ломался.

– Не будешь хорошо играть, – говорил Колобков, – напишем письмо товарищу Сталину и все о тебе расскажем.

За столом он учил Сашу не чавкать, не чмокать, не расставлять локти во время еды. Запихивал под мышки по книге, когда тот ел, и следил, чтобы книги не падали. Под левую мышку запихивал телефонную книгу, под правую — "Краткий курс истории ВКПб". Других книг в доме не было. Другие книги Саша покидал в помойку от ненависти к мировой культуре.

— Не будешь прилично есть, — говорил Колобков, ... позвоним товарищу Сталину по телефону и все о тебе сообщим.

И однажды Саша не выдержал.

— Отстаньте от меня, — сказал он. — Ваш Сталин — дурак.

Перлюстратор Колобков посерел.

Простоквашные глаза скисли от ужаса.

Челюсть обвисла и долго потом не возвращалась на место.

И наступили новые времена, суровые и беспощадные, как в африканских джунглях.

При гостях, в трамвае, на улице — младенец Саша говорил порой, злодейски ухмыляясь:

— Сказать громко? Ну, сказать?

И Колобков обмирал от детской его наглости, безмятежной и жестокой.

Он уже играл на аккордеоне, когда хотел. Он ел, громко чавкая и рыгая, и расставлял за столом локти. Он чувствовал свою силу и мерзко улыбался до случая. Чтобы родители не привыкли к ужасу, он их подпугивал ненароком:

— Ваш Сталин — ку-ку!

В садике, на елке, наряженный зайчиком, — пухленький, пушистенький, хвостик помпончиком, — младенец Саша вышел вперед с аккордеоном, отыскал среди родителей своего отца и спросил пакостно:

— Сказать, а?

И тогда перлюстратор Колобков — линзы минус

пятнадцать – поднялся вдруг во весь рост от непереносимого унижения и проорал ненавистно:

– Скажи, подлец, ну скажи!

И умер на месте от разрыва сердца...

– Волшебные фонари и картины к ним, – бормотал тем временем Сапожков. – Патентованные вешалки "Идеал" – для платья и полотенца. Сухой квас и кислые щи в коробках – изобретатель Скворцов. Трактиры "Амур", "Бухта", "Крутояр" и "Разгуляй". Магазин офицерских вещей – Живаго...

На столе, среди ножниц, гребенок и одеколona лежал, будто невзначай, очередной номер "Блокнота агитатора".

Полковники в отставке прочно усаживались в кресло, как в долговременную эшелонированную оборону, и предавались сладким боевым воспоминаниям, лаская глазами официальное печатное издание, пока Алик обривал им могучую складку на загривке и обрабатывал "бритый бокс": по бокам – голо, а наверху – нашлапка.

Полковники требовали крутой одеколон "Шипр", расплачивались строго по прейскуранту и чаевыми не баловали: медь со сдачи ссыпали во внутренний карман на пуговке. В сереньких вздернутых пиджаках и брюках в полосочку они чувствовали себя пленными или разжалованными и очень беспокоились за обеспеченное будущее.

Полковник Довгань – лысый и лаковый.

У него были такие железные зубы, что, когда он открывал рот, очень хотелось, чтобы он поскорее его закрыл.

Ему Алик подбривал шею и выслушивал сокровенные признания.

– Мы их кормим, – говорил Довгань, – а они своевольничают.

И Алик ежился виновато.

– Скоро уже, – говорил Довгань. – Поверь мне. Мы их обязательно приструним.

А кого приструним — не говорил.

И тогда Алик Сорокер так испугался, что стал даже храбрым. Доспел, другими словами. Дозрел на веточке.

— Пора переводить клиентуру, — сказал Алик с опозданием на много лет и попросился на выезд.

Парикмахеры — они нигде не пропадут.

Чего им?

— Жил я в доме всем доволен, нужды, горечка не знал...

Пришел в парикмахерскую полковник Довгань, а Алика и след простыл.

Только "Блокнот агитатора" на столике.

— Ах, — сказал Довгань и клацнул железными зубами, — я бы его своими руками!

И показал — как...

Все испугались в парикмахерской, мастера с клиентами, один Сапожков не испугался.

У старика Сапожкова полный провал в памяти, и он просыпается всякое утро, как заново рождается на свет.

— Здравствуйте, — говорит сам себе, — давайте знакомиться. Здравствуйте, — говорит жене, — а вы кто будете?

Нет у него неприятностей прошлого, нет застарелых, нерешенных проблем: полная гармония с миром и с самим собой.

— Господи, — говорит к середине дня, — до чего же хорошо!

А к вечеру забывает и про это.

Половина парикмахерской завидует его уникальной способности. Другая половина уверяет, что он притворяется, просто валяет Ваньку. Спрашивали у него, а он и того не помнит. Только чирикает ножницами в свое удовольствие да карман оттопыривает для благодарственных подношений.

Степан Евграфович Сапожков, вечный волосочес-причесник...

– Автомобили "Адлер". Грузовики "Бюссинг". "Испано-Сюиза". "Деляж". Бесшумный автомобиль "Бенц". Торпедо, купе, лимузин-фургон. Первенство мира и три кубка за регулярность...

Они вылезли на берег у приморского шоссе, захватили автобус с пассажирами и поехали к Тель-Авиву, стреляя из окон во все стороны.

Каждую минуту по радио передавали новости:

"Террористы в автобусе!.. Погоня!.. Убитые!.. Кровь!.."

– Дедушка, – кричал маленький Сорокер, – их спасут?!. Дедушка, мы не разучились атаковать? Что там, дедушка?!.

Тридцать семь убитых, семьдесят пять раненых...

Вечером, по телевизору, профсоюз спорил с министрами. Танки шли на север. Русская пара танцевала на льду. Хоронили внуков и бабушек. Шпион в фильме умирал понарошку. Певица пела с детьми: "Пусть будет мир!" – весело и samozабвенно. И чудилось ему, Алику Сорокеру, в тот день и в дни следующие, что все смотрят на него, только на него, будто это он во всем виноват, будто это он наготовил в прошлом то оружие, из которого потом стреляли во все стороны...

В небе луна завалилась на спину, как рыбка в аквариуме.

В небе мешанина из невозможных звезд.

И Полярная звезда указывает на тот конец туннеля, куда уже не попасть.

– Мы приходим в этот мир, – говорит Хана, – чтобы получить причитающиеся нам порции горя и радости. Но порции неодинаковы, и время выдачи разное. Что-то получаешь вначале, что-то в конце.

Интеллигентная Хана сидит на диване. Ноги поджаты. На плечах расписная цыганистая шаль. У Ханы болит сердце, но она не жалуется.

– Зажралась, матушка, – говорит Хана. – Стыдно жаловаться. Накушалась, небось, за жизнь.

И глядит с пониманием на Ваню Рыбкина.

А Ваня в рамочке глядит на нее.

Чем дольше ты живешь на свете, тем дальше тебя уносит в темный туннель времен, пленником на аркане, за злой и норовистой монгольской лошадей, от милых сердцу лиц и памятных дат. Что ждет впереди? Чего это мы устремляемся так поспешно в черную дыру будущего? Пронзительно визжат кони, бьют стропливо копытами, пока не прервется однажды истертый аркан, и умчатся вдаль норовистые скакуны, и затихнет вокруг тебя – до гулкой тишины в ушах, до тихого стрекота невидных кузнечиков...

"Матушка-голубушка, солнышко мое, пожалей, родимая, дитяtko твое..."

Инженер Макарон за стеной млеет от наслаждения.

Русские романсы. Надежда Андреевна Обухова.
Сладко до слез...

В дверь звонят.

На пороге мужчина.

С ножницами в руках и гребенкой.

Тень отбрасывает на стенку, – отметьте, пожалуйста.

Он мне никто, – объясняет Хана на всякий случай.

"Как скажешь, Анечка".

– Вам, Хана Семеновна, пора стричься.

Седой, благообразный, – Хане с одиночества приятно.

– Сорокер, – говорит Хана задумчиво. – Сорокер-Воронер кашу варил, деток кормил... Сорокер, вы умеете готовить?

– Я все умею, Хана Семеновна, – отвечает он со смыслом и ловко обстригает непослушный завиток. – Жизнь научила. Жизнь – великая забавница.

– Ах, – жмурится Хана, специалист по источникам. – Ах, ах, какой пассаж! Мы сидели с тобой, наслаждались, недалече пропел соловей...

— Про соловьев не скажу, — отвечает на это Соркер, — а вот у моего сына — говорящий попугай в клетке. Стоит большие деньги, но сын хорошо зарабатывает и может себе позволить.

— На каком языке он говорит? — спрашивает Хана.

— На иврите, естественно.

— Я про сына спрашиваю.

— У сына, — говорит Алик, — полная каша. Русский с ивритом — не прогребешь.

— Учился бы у попугая, — советует интеллигентная Хана.

И скисает от огорчения, услышав из-за стены:

”Я помню все, и голос милый, и ласки, ласки без конца...”

6

А за деревней, на развилке дорог, сидели в окопе трое.

Трое сидели в окопе, возле проселочной дороги, где теплой пыли — по локоть, и грызли не спеша темные сухарики, попивали водицу из котелка, покуривали.

На рассвете их вывел сюда по росе командир взвода Петренко, велел вырыть окоп в полный рост и держать оборону против немецко-фашистских захватчиков в районе деревни Охлабаихи.

— Умереть, — сказал Петренко, — но чтобы они не прошли!

И ушагал на другую позицию. По ту сторону от развилки. Там тоже сидели наши, но не об них речь.

И они приготовились умирать.

А рассвет был такой прозрачный, и небо в таких обещаниях, и дорога манила в вишненные сады, но место уже назначено, и могила вырыта, и час определен, — некого пока хоронить, некому засыпать.

— Мне нельзя умирать, — сказал с акцентом плот-

ный, скуластый, глазки-щелочки. — Я представитель вымирающей народности. Нас дюжина на свете осталась, а может и меньше. Нас надо беречь.

А другой — шустрый, ловкий, парень-вострец, как съедаемый изнутри беспокойством, оглядел его со вниманием да и пропел без связи:

— Ох, где ж ты была, волочилась? Я по бережку ходила, намочилась...

И переложил без надобности винтовку.

Образца тысяча восемьсот девяносто девятого дробь тридцатого года.

Он поворовывал изрядно в мирной жизни, парень-вострец, брал магазины, квартиры с ларьками, и теперь передыхал от работы. Его ранят потом, отнимут ногу в медсанбате, подлатают и залечат: полная потеря квалификации, — вот он-то и будет инвалидом в электричке, геройский увечник, гнусавый, наглый и полуопохмелившийся:

— Во все боки, во все вздохи веселись моя душа...

Третьим в окопе был парнишечка.

Лет восемнадцать.

Красноармеец Макарон.

Сдобный, теплый и без корочки: маминой, домашней выпечки.

Мама Макарон взбивала ему подушку.

Папа Макарон целовал на ночь.

Бабушка Макарон подтыкала под бочок одеяло.

Дедушка Макарон подкладывал грелку.

Из тепла да прямо в окоп.

Он не стрелял еще ни разу в жизни в живого человека, красноармеец Макарон, и даже не знал, как это делается.

Он не понимал еще, что это значит — умирать, и глядел без страха на деревню Охлабаху.

Оттуда ждали немцев.

И немцы появились, естественно. Пылью припорошенные. Без конца-края. Белозубые и благодушные. Катил на Охлабаху нерусь — в кузовах с бор-

тами, с высоты оглядывала завоеванные окрестности.

Солнце упиралось в макушку. Прожаривало, как в вошебойке. Наливало в Охлабаихе вишню-ягоду, крупную, алую, сквозистую: вишня-владимировка — известный сорт.

Порубали вишненные деревца, завалили в широкие кузова: по счету, на каждый по два. Ехали, обирали ягоду, плевались косточкой: веселые и кровавозубые прищельцы, — обобранные деревца скидывали на дорогу.

И Охлабаиха осталась без вишен.

Как не было.

— А вы с чего вымираете? — спросил красноармеец Макарон, которому по малолетству было любопытно.

— Нагрузку не держим, — пояснил скуластый. — Уж больно много вы напридумали на нашу голову. Работать. Радио слушать. В очереди стоять. Кому это под силу?

А парень-вострец пропел на это не без лихости:

— Из колодца вода льется, вода волноватая...

И снова переложил винтовку, чтобы была под рукой.

А немцы уже проехали деревню Охлабаиху, порубали по пути всю вишню и вмиг докатились до развилки.

Тут они встали, призадумались, куда ехать: трое в одном окопе попридержали дыхание, трое попридержали в другом.

Немец в головной машине развернул карту, водил по ней пальцем, решал не спеша, кому жить, кому помирать, а они глядели из окопов, не смаргивая, пот лили соленый: всякая живелочка жить просится.

И только парень-вострец бормотнул, ощерясь:

— У меня коса большая, в косе сорок волосин...

А больше никто не посмел...

Мама Макарон накладывала бывало тарелку с верхом.

Папа Макарон намазывал хлеб маслом.

Бабушка Макарон подкидывала лакомые кусочки.

Дедушка Макарон глядел в рот и таял от наслаждения.

А умирать приходилось одному, в небрежно отрытом окопе, где песок струйкой ссыпался на башмаки, до времени хоронил ноги.

Немец надумал наконец, махнул рукою налево, и они покатили себе по той дороге, мимо того окопа, гранатами закидав походя — тех — не этих! — из высоких кузовов.

— А сколько вас раньше было? — спросил красноармеец Макарон, когда все закончилось и пыль осела.

— А раньше нас много было, — ответил представитель вымирающей народности. — Воевать. Отступать. Гранаты кидать. Кто это выдержит?

Вот он-то и переживет всех, этот скуластый и узкоглазый, станет со временем представителем вымершей народности, рукою махнет на прошлое — не вымирать же без пользы, да и напишет зато диссертацию, научную и доказательную, где прямо скажет и без экивоков: "А кто хочет, тот пусть и вымирает. Так и должно быть. Единая семья народов придет через вымирание".

И ожиреет с этого.

И озолотеет.

Харю наест — на троих хватит.

Но это — потом...

Еще посидели. Поглядели на Охлабаху. Допили водицу из котелка. Догрызли сухарики.

Команды на отход не было.

— А вы кто будете? — спросил любопытный Макарон от нечего делать.

Парень-вострец глаза выголил:

— Жиганье, — пояснил. — Шебуняла и прошнырыга. Волочительных дел мастер. Уж больно ты, малый, вплетчивый.

— Я вас не понимаю, — сказал красноармеец Макарон — домашней выпечки. — Говорите вы по-русски, а не разобрать.

— Мне тоже, — сказал скуластый.

— Нерусь, — пояснил вострец. — Куда вам.

И выстрелил вдруг в небо, как убил кого...

К вечеру на них вышла медсестра Клава, запыхавшаяся от переживаний, и, зацепившись за нее, скакал на одной ноге командир взвода Петренко, бодрый и неустрашимый.

— Отступить, — приказал, — все за мной!

Они отходили лесами, все вместе, и Клава никому не доверяла раненого командира, волокла на себе, постель ладила на привале: по пути, верно, и стговорились, на привале, видно, и начали, — стреляная нога не помеха...

— А Петренки в общественном лифте, — говорила на это блокадная старуха, — занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.

И принципиально ходила пешком на пятый этаж.

В час по пролету.

Блокадные — они со странностями...

Мама Макарон умирала по внуку.

Папа Макарон умирал по внучке.

Бабушки Макарон не было уже на свете, а дедушка Макарон согласен был на кого хочешь, лишь бы купать поскорее, пеленать, курлыкать за компанию.

Что такое, в конце концов, дедушка? Та же бабушка, только с бородой.

Но инженер Макарон на уговоры на поддавался и жил холостяком.

Одиноко, закрыто, безлюбно, не получая удовольствия от общего веселия, убегая из любой компании, когда превышался предельный уровень неестественности.

Желчный оптимист Макарон.

Он поднимал на улице руку, но такси не останавливались на призыв.

Его попутчики поднимали руки, но такси опять не останавливались.

– Отойди за угол, – просили попутчики. – Ты невезучий.

Он уходил за угол. Попутчики останавливали первое же такси. Он выбежал к машине. "Я еду в гараж", – тут же говорил шофер...

Ночами ему снился окоп, дорога в пыли – по локоть, деревня Охлабаиха на пригорке, в которой он так и не побывал, и наползало оттуда большое, хвостатое, кровавозубое, допыливало неизбежно до развилки – смертная на всех пауза, а он ждал почему-то с той стороны, у того окопа, который они походя забросали гранатами.

Он был невезучий в жизни, инженер Макарон, а тут – надо же – повезло.

У Бога – дальний прицел...

– Почему ты не носишь кальсоны? – выговаривала в осуждение мама Макарон. – Все мужчины должны носить зимой теплые кальсоны.

– У меня от кальсон – комплексы, – отшучивался он. – Неполноценности и неудовлетворенности.

– В нашей семье ни у кого не было этих ваших комплексов, – сообщала мама, – а жили – дай Бог всякому.

Пойди объясни ей, что он надеется еще на случай, удачу, сюрприз жизни: кивнет ему девушка, легкая, ладная, светящаяся, поманит уединиться за компанию, а на Макароне – о позор! – сиреневые подштанники...

Было ему уже далеко за тридцать, Любке-копировщице – девятнадцать с хвостиком.

Любка была округлая, теплая, зовущая и покладистая и чем-то напоминала медсестру Клаву, запыхавшуюся от переживаний. Любка ходила размаши-

сто, показывала голые коленки, одежды носила легкие, распахистые, чтобы сподручнее скидывать, — Макарому нравилось.

— Любка, — говорил, — ты из Охлабаихи?

— Не. Мы — сибирские.

— Не ври, Любка, ты из Охлабаихи.

Их столы стояли у окна, за большим кульманом, и им никто не мешал.

Любка прибежала на службу в последнюю секунточку, пыхала жаром, пучила глаза, грудью шевелила без надобности и тут же начинала рассказывать, а он слушал — завидовал.

— Я вечер в гостях гостила, — напевала Любка без стеснения, растягивая слова, — во компании была. Набуровили мне белого вина — в стакане пупком. Выпила, наелась на дурничку!

— А потом чего? — спрашивал инженер Макаром, которому не хотелось работать.

— Обночевались. Назавтра встали. Закусили, как следует быть. На вечер опять звал.

Мать у Любки работала проводницей в общем вагоне. Брата у Любки зарезали в драке. Отец у Любки привез их когда-то из Сибири да и сбежал от алиментов.

— А где он теперь?

— Где — на бороде. Волкам сено косит.

И весь сказ.

— Гулеж был, — рассказывала на другой раз. — Гулебная компания. Гулеван с гулеванкой. Поели, попили, гузку подавили. Житье — за милую малину!

— Сколько же вас было? — спрашивал с интересом инженер Макаром.

— Сколько — нисколько, — туманила, — а мне — хватило.

— Ой, Любка, некому тебя в руки взять.

— Чего это некому? Каждый вечер берут...

Потом она копировала его чертежи и кляксы ставила от воспоминаний.

— Что ты такой потема? — выговаривала Макаро-
ну. — Развалеха. Дикуша. Дикопад. В лесу настеган-
ный. Не живешь — маячишь.

И опять он не понимал смысла, хоть и говорила
она по-русски, но теперь уже привык и не переспра-
шивал.

— Любка, — сказал раз. — Иди за меня замуж.

— Ах! — припрыгнула. — Это надо же! Тут и вши
умерли!..

Подумала. Нос почесала. Сказала просто:

— У матери спрошу. Чего скажет.

— Ты, девка, выпряглась, — сказала мать. — Блу-
дом блудишь. Иди за него. Приструнись. Одной ру-
кой и узла не завяжешь.

Пришла наутро.

Села.

Глянула в первый раз с интересом:

— Ты меня прежде в улог уложи, тогда, может,
пойду.

— Попробую, — сказал Макарон...

Мама Макарон ослабела от страха.

Папа Макарон принял сердечное.

Дедушки Макарона на свете не было, а то бы он
умер еще раз.

Он провел ее в свою холостяцкую комнату, за-
перся на ключ, а родители сидели у телевизора, пу-
ганные и притихшие, и делали вид, что им ничего не
слышно.

— Ты не думай, — шепнула Любка к утру. — Я не
бардашная. Стану я тебе свинскую морду делать?..

Свадьбу сыграли скромную.

Мама Макарон. Папа Макарон. Да проводница об-
щего вагона: платье бабкино — мясной цвет.

Была проводница еще не старая, чуть за сорок,
любила попить да попеть, знала толк в мужиках, но
жила уже не в кон, а с кону.

— Жить да богатеть да спереди горбатеть! — поже-
лала проводница, и Макарон надел Любке на палец

старое бабушкино кольцо, поцарапанное за трудную жизнь.

– Отполируем, – сказала Любка. – Чего там?

– Я тебе отполирую, – пригрозил Макарон. – Знаки семьи. Родимые царапины. Грех забывать.

И Любка не поперечила...

Выпили.

Закусили домашними грибочками.

– На рассолку, – пояснила проводница, – свинушки идут, болотник идет, осиновый идет с березовым, – старые, конечно, не берем, а эти все идут. У нас гриб – мостом стоит, один к одному. Как пойду, бывало, прибираться – грибовая смерть!

Мама Макарон вежливо кивала в ответ и пододвигала фаршированную рыбу.

Потом чай пили – тещины постряпушки из теста.

– У нас так, – говорила проводница. – А кто на печи сидел, тот уже не гость, а свой.

Мама Макарон деликатно звякала ложечкой и пододвигала шоколадный торт.

Потом они пели с Любкой, на два голоса:

– Чайник чистый, чай душистый, кипяченая вода, милый режет алимоны: кушай, душенька моя...

Инженер Макарон улыбался и засматривался на Любкины прелести.

Папа Макарон улыбался и засматривался на нестарую проводницу.

Мама Макарон улыбалась и ревновала смертельно.

– Все вы, Макароны, такие, – сказала она назавтра. – Ничего возвышенного...

Примирила всех Танька.

Кругленькая и носатая. Кучерявая и толстопятая. В бабушку Макарон и в дедушку, что в бегах.

Кому – купать, кому – пеленать, кому – горшки таскать.

Переболталось кислое с пресным...

Через много лет после этого пришла в дом похоронка.

На красноармейца Макарона.

Это были уже времена, когда сравнивали жизнь с сороковым годом, а не с тринадцатым. "В сороковом году, — сказали по радио, — в городе Пензе был построен один только жилой дом и одна баня". Дожили до сопоставимых времен.

Так, мол, и так, было написано в похоронке, на основании архивных розысков стало известно, что красноармеец Макарон пал смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великую Отечественную войну и в списках пропавших без вести больше теперь не значится.

— Наконец-то, — сказал Макарон, седой и сутуловатый. — Сколько ждать пришлось.

— Пойди, — поехала Любка. — Скажи, что ошибка.

— Никакая не ошибка, — ответил инженер Макарон. — Поехали, Любка. Тут я уже умер. Меня убили возле деревни Охлабаихи.

Подумала. Нос почесала. Сказала тихо:

— У матери спрошу. Чего скажет.

— Поезжай, Любка, — велела мать. — Куда иголочка, туда и ниточка.

— И вы с нами, — сказал Макарон.

Она только глянула на него замученно.

У Любки был брат. Брат поехал на заработки. Его зарезали в драке. Брата заморозили, уложили в цинковый гроб, прислали матери. Так его и похоронили, не показав.

— Он целый лежит, — сказала мать. — Замороженный и нетленный. Уеду от него — душа с горя лопнет...

На работе на нее навалились из парткома, чтобы разрешение дочери не давала.

— Не давай, мать. Пусть он один едет. Чего тебе?

— Вы что, — сказала. — Зятю-то? Кишки вам на уши!

Обозлились. Напакостили. Дали ей худой вагон. Зима. Окна во льду. Система течет. Котел перегре-

вается. Всю ночь таскала воду на крышу, доливала на ходу, чтобы пассажиры не замерзли.

А самой уж — к пенсии...

На таможне вдруг запищала пуховая подушка.

Ничего не пищало — одна она расстаралась.

Старик-проверяльщик, едкий и язвенный от вечного недоверия, водил по подушке особой хреновиной, и она подавала голос.

— Есть у тебя золотишко, — тихо радовался старик. — Есть, есть...

Подушку отложили в сторону, и весь долгий день, пока шла проверка, старик водил по ней то и дело этой хреновиной и подпугивал ненароком, растягивая наслаждение:

— Есть у тебя золотишко... Есть, как не быть?..

Потом подушку просветили рентгеном, ничего в ней не нашли, и стали заколачивать ящики.

— Смеешься над стариком... — бормотал проверяльщик, серый и приникший от огорчения и усталости. — Хихикаешь в душе... Зубы скалишь... Обманул, провез золотишко...

— Отец, — сказал ему Макарон. — Тебе лечиться надо. Молоко получать за вредность. Сколько же тебя, отец, обманывали?!

Папа Макарон остался на кладбище, с дедушкой-бабушкой.

Мама Макарон поехала с сыном.

Теща-проводница плакнула на прощание, слезой облилась, пошагала себе на автобус: ноет сердце, вынывает, в тоске пребывает...

Инженер Макарон поднялся по трапу самолета, увидел проем внутрь, — внутрь, как в бескрайний туннель, — поморщился, попятился... и, расталкивая иностранный народ, запрыгал вниз по ступенькам.

Потом по бетонке.

Через лесок.

Через ограду.

По долгому, вспаханному полю, до потери сил и

дыхания, где развилка на пути, ссыпавшийся от старости окоп, деревня Охлабаиха на пригорке.

Сидел. Пересыпал пыль дорожную. Прожаривался на припеке. Думал не спеша.

Если бы убили тогда, в ту смертную минуту, что бы потерял безвозвратно?

Не встретил бы Любку. Не родил бы Таньку. Не сбежал бы теперь с трапа самолета, леденя от неизбежного прощания.

У каждого человека есть своя Охлабаиха, где удалось не умереть...

Встал.

Пошел по дороге.

Пришел в деревню, в вишенные ее сады, где соком наливалась ягода – алая, сквозистая.

Лицом зарывался в листву, руками обхватывал стволы, губами ловил ягоду за ягодой и рвал, и глотал, и обливался кровавым соком – солоно соленых вишен – до самой посадки в заграничном городе Вене.

Ах, Макарон, Макарон, кто же теперь будет защищать деревню Охлабаиху?..

По пятницам, перед закрытием, когда фрукты-овощи отдадут ни за что, ходят по рынку двое – женщина нестарая, еще в силе, с озабоченной складкой на переносице, и грустный мужчина с кошелками. На рынке много всего, хоть завалом завались, и дают набирать в прозрачные пакетики.

– Не жидись, – говорит мужчина – до пенсии всего ничего. – Купи Таньке клубнички.

А она – через плечо:

– Клубничка – не сезон. Чего переплачивать? Денежки наши тугие. Не горстаются, а берутся счетом.

И покупает зато бананы с апельсинами.

Яблоки переспелые – на пирог.

Помидоры давленные – в суп.

Вино – для гостей.

Хана зайдет к вечеру. Фрида. Алик Сорокер.

Летом, рано утром, в пятом еще часу в дверь постучали.

На улице стоял гигант-грузовик.

У порога топтались два бедуина.

— Вам чего? — спросил он спросонья.

Они заговорили разом, показывая на ящики от багажа, что стояли во дворе, тыкали в нос замусоленные ассигнации.

Багаж привезли вчера. Ящики были его, с московской таможни. Их надо было продать на доски, пока не унесли так.

— Десять, — сказали бедуины.

— Тысяча, — сказал он.

— Двадцать, — сказали бедуины.

— Восемьсот, — сказал он.

Они говорили на разных языках, но понимали с полуслова.

— У нас дети, — сказали бедуины.

— У меня тоже, — сказал он.

— У нас больше, — сказали они, и возразить было нечем.

— У вас зато грузовик, — сказал он в отместку, — миллион стоит. Стыдно приbedняться.

Тогда они закричали гортанно, замахали руками, вдавили пузами в стенку.

Было рано. Глаза слипались. В мозгах плыл туман. Одно понял из их слитного крика: стоять в Негеве, в самом сердце пустыни, посреди коз-овец-верблюдов, бедуинскому шатру из московских досок, и тушью на нем, крупно — АБАРБАРЧУК.

Это ему польстило.

— Берите, — сказал великодушно. — Четыреста.

Что я болтаю?! Абарбарчук остался навечно в той

еще жизни, куда бедуинам Негева вход заказан, и торговались они не с ним.

— Восемьсот, — сказал Сорокер неуступчиво. — И ни копейкой меньше.

— Шестьсот, — сказал Макарон, стесняясь. — И забирайте.

— Двести, — сказала интеллигентная Хана. — Но можно и сто.

И бедуины укатили с ящиками на красавце-грузовике, который стоил миллион...

А на улицах, по краям тротуаров, сажают, будто на смех, малые прутики.

Неогороженные поначалу. Хилые и беззащитные.

Люди их ломают, машины, собаки с кошками — походя и ни за что.

И потому — в ужасе от неизбежного — прутики уталщивают первым делом свои стволы. Не ветви выпускают. Не листья распушают. Одни только стволы, чтобы уцелеть, выжить, перестоять опасное время.

Их огораживают потом, подвязывают бечевочкой к подпоркам, но они тут же обволакивают бечевки и толстеют дальше, а уж потом только идут в рост, в ветви и в листья.

Кто не толстеет, тому не жить.

Только стоять скрюченным — в ожидании неизбежного...

Интеллигентная Хана гуляет по окрестностям, подмечает в тоске ветку обломанную, ствол перекрученный, обгрыз, заскреб и надрез.

— Чтоб у них руки отпали! — бормочет Хана в слезе. — Чтоб у них ноги отсохли! Чтоб они сами полопались и перекрутились!..

— Грех так говорить, — возражает Фрида. — Не желайте никому плохого. Желайте только хорошее.

Старика Талалая нету уже в живых, и Фрида теперь за Талалая.

— Глупости! — кричит Сорокер. — Расстрелять па-

рочку! На площади. Чтобы другим неповадно. Сразу перестанут ломать!

У Сорокера на все свой ответ: расстрелять парочку. Он теперь храбрый, Алик Сорокер, он теперь экстремист. Пусть теперь другие его боятся.

— Ах, — восхищается Хана, — какая прелесть! Алик, вы это еще не опубликовали?

— Нет, Хана Семеновна, у меня с русским языком сложности.

— А вы без языка. Все публикуют, что бы и вам?

Но Алик неумолим.

— Эти, — говорит он. — Черные. Пейсатенькие. Разбегались по городу, раскомандовались. Давить, как тараканов.

Фрида замирает в огорчении:

— Дедушку своего будете давить? Папу моего — Талалая?

— То были другие времена, — говорит Алик. — Теперь этого ничего не надо.

— Опубликуйте, — стонет Хана. — Непременно опубликуйте!..

А инженер Макарон с Любкой бродят вечерами по улицам, подвязывают ветки, укрепляют стволы, лечат, приживляют и сращивают.

— Вам за это платят? — спрашивают прохожие, не понимая.

— А пошли бы вы! — говорит Любка по-русски и матерится во всю мать.

Вот это они понимают...

Любкина мать присылает письма из-за границы.

Выводит на конверте с уважением: "Госпоже Макарон".

Пишет. Зачеркивает. Слезой капает.

Горевое ее дело.

Ходит порой на кладбище, где папа Макарон, бабушка Макарон с дедушкой, подсаживает цветы, пропалывает и прибирает. Кому-то и оставаться, чтобы приглядывать за могилами.

Не свои вроде, да уж и не чужие.

Кто были эти пришельцы, чем занимались, как выглядели, из-за чего вымерли: не у кого будет скоро спросить, некому скоро ответить.

Единая семья народов приходит через вымирание...

А в кладбищенских воротах сидит на земле геройский увечник, каплю копит под носом. Хайластый. В лохмотах. Устарел и глазами обнищал. Руку тянет привычно, забутьливает что ни вечер, накрикивается всласть:

— Как и резали быка мы у Павла-мужика!..

Скакал прежде на деревяшке — ее очинили по пьянке карандашом: скачет теперь на костылике. Тут ему и быть, при кладбище. Тут и помирать. Тут и народ пугать:

— Вдруг вылезит из могилы в белом саване мертвец...

— Мама, — пишет Любка в ответ, — летом тут тепло, мама, и можно ходить безо всего, и в магазинах все есть, а что евреи кругом — так к этому я привыкла...”

Выходит из дома Танька Макарон, город-девка: высокая, румяная, грудь башней, — нараспашку, распахайкой, весело вышагивает по мостовой.

Подкатывает на машине Шмулик, Танькин жених, глазом обмирает на доставшиеся ему прелести: глядеть — не отойти!

— Мальчик в девочку влюбился, — комментирует Хана, специалист по источникам, — своей волюшки лишился...

Соседи на лавочке оглядывают с интересом, как Шмулик разворачивается в тесноте — с шумом и треском. У него машина с прогорелым глушителем, лысыми колесами и двумя вмятинами на боку, но Танька королевой сидит возле Шмулика: во всю губу барин.

— У нас так, — говорит жениху Любка, теща по-на-

шему. -- Чтобы потом без жалоб. Видели очи, что брали к ночи. Переведи ему.

Танька переводит.

— У нас тоже так, — говорит Шмулик. — А не то в Сибирь.

И они укатывают в город.

Завтра Шмулику — в армию на месяц, и Танька не воротится до завтра.

— А Петренки в общественном чулане, — говорила блокадная старуха по схожему поводу, — занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.

И обходила стороной чулан...

Ради Шмулика Танька должна пройти гиюр, чтобы была хупа, и ктубба, как положено, — но как это будет по-русски?

Танька уже затрудняется...

Инженер Макарон встает в пять утра, из дома выходит в пять сорок.

Приезжает за Макароном автобус, в потемках везет на завод через полстраны.

Утром — с горы. Вечером -- в гору.

Город провожает его по утрам, выглядывая с гор крайними строениями, будто тянется на цыпочках и никак не может распрощаться.

Город ожидает его к вечеру, раскидывая руки-улицы, словно предлагает себя в подарок, — подарок, который уже не отнять.

— Главное я сделал, — думает сонный Макарон, подпрыгивая на сиденье. -- Я тут. Что бы уже ни случилось, а я тут.

Спать хочется от этого не меньше, и просыпаться тоже нелегко.

— Ты марки собираешь, — выговаривает Любка вечером, не отрываясь от экрана, — а другие, погляди-ка, на оленей охотятся. По снегу. На лыжах. Посреди красоты. А он стоит стрункой, рога выставил, шерстка шелковая, глаза навывкате — печаль смертная...

Пауза.

— Уж лучше марки собирать...

После вдоха-выезда — долгий, предлинный выдох.

— Я тут, — бормочет как заклинание инженер Макарон. — Я навсегда теперь тут...

А ночью поскреблась Хана.

Через стенку.

Видно, прихватило — невмоготу.

Прискакала к ней Любка — босиком и в рубаше, вызвала скорую помощь, повезла Хану в больницу.

— У меня дом был в Тбилиси, — тут же сообщил шофер, распознав своих. — Ларек "Пиво-воды": в парке и у вокзала. Жизнь — тебе и не снилась.

— Чего же назад не просишься? — поинтересовалась Любка.

— Нельзя назад. Провожали — за здоровье пили. Домой ехал. На родину. К своим. Ворочусь — уважать не будут...

В больнице определили тут же: у Ханы инфаркт.

Жизнь — метеор: не успел загадать желание, а она уж и пролетела...

8

А в переулке стояла машина.

Новенькая, ладная, быстроходная машина — в Зыковском переулке: с ковриками на сиденьях, с куколкой под зеркальцем, с кожаным чехольчиком на руле.

Кто-то на ней уезжал под утро, кто-то на ней приезжал под вечер, и мыл часто, и стекла протирал старательно, и получал, наверно, удовольствие — а почему бы и нет? — от скорости, от мягких сидений, от куколки под зеркальцем.

И вот я увидел: стоит машина в переулке, в неурочный час, хоть утро уже на исходе, и на крыле у нее вмятина, на правом переднем крыле — прилич-

ная отметина от столба, дерева или другой машины, а стекло у фары выбито, и никель покорежен, и беззащитно глядит наружу целая почему-то, неразбитая при ударе лампочка.

Сколько потом ходил я мимо, случайно или нарочно по переулку, но никто на ней больше не ездил, никто не чинил: то ли заболел хозяин от огорчения, то ли занемог попутно, — так и осталось оно загадкой.

На другой день вывернули целую еще лампочку, — почему бы и не вывернуть? — и машина окривела на один глаз.

Еще через день вынули блестящий отражатель с патроном, и открылся ход, лаз, пустая глазница внутри машины.

Потом была пауза. Недели на три. Будто принялись, присматривались, прикидывали степень дозволенного.

Ее можно было еще починить. За малые рубли — подлатать, исправить, сделать новенькой. Был бы хозяин, были бы силы-желания...

Прокололи для проверки одно колесо, машина осела на бок, но хозяин не пришел, не подсуетился, не позвал на помощь милицию, и они, эти, из окрестных домов-дворов-палисадов, поняли: можно.

Ночью взломали багажник и уволокли инструменты с запаской.

Другой ночью грубо — ломом — задрали капот и унесли аккумулятор, карбюратор, разную мелочишку.

Теперь машина стояла покореженная, расхристанная, и около нее останавливались прохожие, изумленно, горестно, а то и с ухмылкой качали головами, а кто-то — уже без стеснения — ковырялся с лентой в моторе, отворачивал еще неотвернутое, на виду у всех складывал в мешок.

Но машина была еще заперта, и коврики лежали на сиденьях, и куколка болталась под зеркальцем, и

кожаный чехольчик на руле... Вот я проходил мимо, и всякий раз мне казалось: глядит из дома человек, глядит печально и беспомощно, привалившись бессильно к подоконнику, отмечает потери и разрушения в собственной машине, и болезнь его, тоже по этапам, набирает степень дозволенного.

Прибежали, наконец, дети, влезли на крышу, прыгали с упоением, визгом, криком, проминая ногами слабое железо, и сразу стало ясно: теперь можно все.

Тогда прокололи остальные шины.

Взломали двери.

Рванули чехол с сиденья, будто платье рванули с плеча, и обнажили кожу — шоколадно-атласную.

Унесли коврики, сиденья, руль с чехольчиком.

Куколке оторвали ноги.

Разобрали приборную доску, выдернули с мясом начинку: пучки проводов торчали наружу жгутами омертвевших нервных сплетений.

Машина стояла нараспашку, просевшая, промятая, с задраным, покоруженным капотом, а в разинутом ее багажнике плескалась дождевая вода.

Потом дворники укатали ее в конец переулка. Чтобы не портила им вида. Другие дворники прикатали обратно.

Уже отвинтили все фары. Сняли бамперы. Ручки с дверей. Замки. Пепельницы. Педали. Подняли на домкраты, сняли колеса, диски, тормозные цилиндры.

Потом внутри кто-то испражнился...

Машина лежала на пузе нелепым, промятым обрубком, и прохожие уже не останавливались, и дети уже не интересовались, и лишь изредка копошился еще кто-нибудь с гаечным ключом в руке в поисках позабытой детали.

Пришла зима, завалило снегом по самые окна, сугробы намело вокруг, — не подойти уже, не покорезить, — и болталась внутри, на студеном ветру, как в петле, позабытая всеми безногая куколка под разбитым давно зеркальцем.

Но хозяин так и не пришел...

9

Алик Сорокер, парикмахер, побежал суетливо к Стене Плача, записку сунул между камней: "Боже! Дай ей еще пожить!.."

Цветы на тумбочке.

Капельница над головой.

Иголка в вене.

В углу сидел хасид Вова и в пробормот читал псалмы.

— Если петух снесет вдруг яйцо, — сказала Хана, специалист по источникам, — будет в доме покойник.

— Какой петух?! — всполошился Алик Сорокер. — Вы бредите?..

А она глазами смеется:

— Петух-бормотух. Не велят по милу плакать, Сорокер, велят вздохи вздыхать...

И тогда Сорокер возрыдал молча и побежал к врачу:

— Берите у меня кровь! Для нее!! Хоть всю!..

— Ей не надо, — сказал врач. — Возьмем для других.

Другим он не дал...

Пришла в гости Любка Макарон, принесла коробку шоколада.

— Ты не разлеживайся давай. Живо-два заживет.

— А то нет, — согласилась Хана. — Берите шоколад. Женщина обязана есть много шоколада.

— Я лучше покурю, — сказала Любка и отвернулась.

Было тихо.

Хасид Вова начитывал псалмы.

Хану утягивало неприметно в глубокий туннель, но она не поддавалась.

— Главное, — сказала, — чтобы впереди было яр-

кое, заманчивое, любопытное до невозможного. Есть — ты живешь. Кончилось — ты умер.

— Я тебе помру, — сказала Любка. — Мы с тобой летом на Кипр поедем. Отдыхать.

— У меня теперь бессрочный отдых. И ехать не надо. Ты не плачь, чужая тетка, не грусти, родная мать...

Любка ушла в коридор, курила в уголке, носом в стенку, а в холле сидели выздоравливающие и смотрели телевизор.

Вокальный ансамбль "Все там будем, хабиби".

— Боженька, — сказала Любка между затяжками. — Ты бы ей подсобил...

Пришагала с натугой Фрида Талалай, принесла апельсинчиков парочку.

— Вы сегодня лучше выглядите, — соврала. — Прямо красавица.

— Куда там, — согласилась Хана. — Красавица, от которой собаки бросаются. Вот умру, вскроют меня и ахнут: как же она тянула столько лет? Как жизнь перетерпела?!

— Будет вам, — перепугалась Фрида. — Живите себе на здоровье.

— А чего? Вы не видели, случаем, такое объявление: "Переделка старых людей на молодых"?

— Нет, — сказала Фрида. — Я не видела.

— Я тоже...

И опять потянуло в туннель, но она удержалась на кромочке.

— Где вы, Сорокер? — позвала. — Где вы, Воронер?

— Я тут, Хана Семеновна. Я сыну звонил. Он у меня дантист. У него связи. Может, спросит у кого.

— Ох, Сорокер, Сорокер! Мне бы теперь другие связи. Поговорите со мной, Сорокер, пока не утянуло.

— Я, Хана Семеновна, — сказал с чувством, — скоро вас подстригать буду. Пора уже. Как только домой воротитесь.

– Вряд ли, Сорокер. Не надейтесь, Воронер...

И опять он побежал за врачом, вприпрыжку по коридору:

– Берите мою кровь! Хоть для кого!..

И поплакал наскоро в уголке...

– Вова, – позвала она. – Потом считаешь. Дай лучше руку, Вова...

Но потянуло уже стремительно – не удержаться и не удержать – в глубину, в глухоту, в немоту со слепотой, и удалялся без возврата Вова-хасид, светлым пятнышком на конце туннеля... но отлепилась от стены тень – нос пуговкой, руки потянула призывно, радостно повлекла за собой. "Вспомни, вспомни, друг любезный, вспомни прежнюю любовь..." "Как скажешь, Анечка..."

– А я есть... смерть прекрасная... – сказала Хана издали, из невозвратной уже глубины. – Пришла я тебя... воскушати...

В двенадцать часов ночи, с последним ударом пульса, Золушка перестает быть Золушкой.

И все тут...

10

Самолет прилетел из Вены.

Малую привез группу.

Всего ничего.

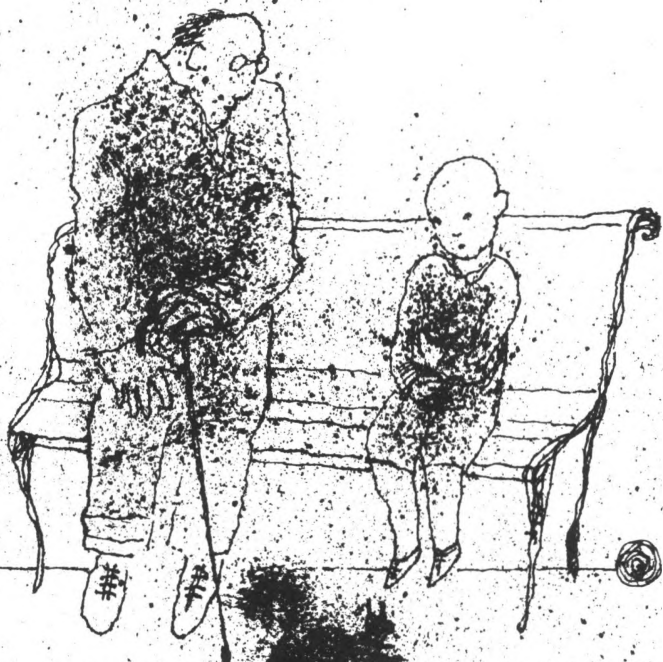
Ждали за стеклом встречающие. Перетапывались. Переговаривались. Выглядывали своих.

Бежал по залу мужчина в ушанке, в тяжелом драповом пальто, в туфлях на микропоре, плакал, смеялся, ладонью водил по стеклу, по лицам за стеклом, ладонью – здоровался.

– Здравствуйте! Вот мы приехали!..

ЧАСТЬ II

РАССКАЗЫ ИЗ ДРУГОГО ПОДЪЕЗДА



1

Абарбарчук тоже был ребенком.

А как же!

Как все, так и он.

Шатун-Абарбарчук.

Это был непоседливый переросток с таким длинным носом и с такой фамилией, которые не снести одному.

Но он нес.

Пусть жизнь твоя течет
Спокойною рекою,
Усыпанная тысячью цветовъ.
И пусть всегда, всегда с тобою
Надежда, Вера и Любовь...

Он бегал босиком по берегу Днестра, долгоносый Абарбарчук, плавал по-собачьи до посинения конечностей, — на той стороне реки виднелось бессарабское село Сороки, до которого хотелось доплыть, — а проголодавшись, валился навзничь под первую встречную козу, сосал неподатливое вымя, косил шныристым глазом, чтобы не набежала врасплох владелица козы — рукастая хозяйка или властелин козы — рогатый козел.

Звали его по малолетству — Чук.

Остаток фамилии пылился до времени за ненужностью, пока не выправили ему по зрелости паспорт

и не припечатали навсегда: первый пункт – Абарбарчук, пятый пункт – ой!

Желаю быть счастливымъ,
Желаю горести не знать.
Желаю всеми быть любимымъ,
Прошу меня не забывать...

Насосавшись козьего молока, Абарбарчук пошел на Москву.

Шел до него Наполеон – той же дорогой, шел после него Гитлер: у Абарбарчука был свой интерес.

Запретное стало доступным: вот он и пошел.

На Москву шли многие.

Шел представитель вымерзающей народности: в Москве потеплее.

Шел парень-вострец: в Москве больше наложено в карманах и больше оттопырено.

Шел Ваня Рыбкин, воронежская порода: учиться на Ломоносова.

Шли Макароны, из глубинок оседлости: все идут, и они пошли.

А Лазуня Розенгласс всегда жил в Москве.

У Лазуни было первогильдейское право, от папы Розенгласса: "Розенглассь и С-нь, торговый дом – Никольская, 11".

Золотые изделия и часовой магазин.

Телефон – 30-64.

Меня не было еще на свете, когда он родился.

Я долго еще потом не жил.

Но я его хоронил.

Лазуня Розенгласс – мой родственник.

Два слова для тебя –
Люби и не забудь меня!

На память
от искренне любящей мамы,
Сокольники, 23-го июня 1902 года.

Голубой альбом с бордовым тиснением.

RELIEF-ALBOM.

“Учебныя пособия у Красных Вороть”.

“Ученика московского коммерческого училища 2-го параллельного класса “А” Лазаря Розенгласса – в Москве”...

Мама Розенгласс ездила на воды в Карлсбад, а оттуда в Кранц, на морские купания.

Так советовали врачи.

Мама Абарбарчук покупала на базаре селедку за пятак, резала ее на шесть кусков, каждый торговала по копейке.

Доход – прикиньте сами – копейка с селедки.

Хвост и голова не в счет.

Хвост и голову подъедали сами.

Но выходил уже в коридор, независимо отражаясь в тяжелых, дедовских, синевой оплывших зеркалах, бледный и вихрастый гимназист, что вскидывал кверху голову да бормотал наизусть, гневно и запальчиво:

– Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для достижения оной... Необходимость Россию преобразовать и новые законы издать... Проект первых распоряжений по армии после переворота...

Соломон Розенгласс. Беспощадный экспроприатор. Который хотел впасть в бедность из принципа и экспроприировать собственного папу, но он не успел. За него это сделали другие.

Соломона убили на Пресне.

Пулей в грудь, головой с баррикады.

Следа от него не осталось.

Даже в Лазунином альбоме.

Я ни поэтъ,
Ни русский воинъ.
Залез в альбомъ
И тем доволен.

Сизов Никола...

Папа Розенглас с мамой Розенглас уехали в восемнадцатом году за границу.

С собой у них был только один чемоданчик такого внушительного содержания, которое кормило их до самой смерти.

Умерли они в Палестине, вроде бы — в Петах-Тикве, и могила их затерялась.

А Лазуня Розенглас умер в Москве.

Это точно: я сам его хоронил.

Он не поехал с родителями, Лазуня Розенглас. Он был молод тогда, любознателен и очень хотел поглядеть, чем же закончится этот эксперимент.

Его могила тоже затерялась.

Ха-ха-ха! Два стиха.

Хи-хи-хи! Все стихи.

От Кати Макъ-Гилль,

23 августа 1904 года, Сокольники...

Абарбарчук долго шел на Москву, путь был извилистый — из теплушки в тифозный барак, но он все же дошел.

На одном из перегонов страшила-казак пугнул вагонное население — баловства ради — длинной своей саблей, и Абарбарчук тут же замотал голову полотенцем, как от зубной боли, запрятав свой несравненный нос до лучших времен.

Худшие времена — это когда бьют.

Лучшие — это когда не бьют, но могут ударить...

На заставе его выглядывала Фрида.

Она выглядывала его из окошка не первый уже год, потому что в девушках тоже не сладко, а когда ты весь день кроишь лифчики, всякие мысли лезут в голову даже самой порядочной девушке.

Фрида Талалай напоила его водой и повела к папе.

Папа Талалай оторвался с неохотой от Книги и задумался: Абарбарчук — редкая для еврея фамилия.

И тогда он размотал полотенце на голове, обнажил неопровержимое свое доказательство, папа Талалай просиял — и дело было сделано...

В дверь позвонили.

Я открыл.

Солнце безумствовало на улице, солнце вторгалось во все углы, и даже в тени притаилось яростное полуденное солнце Иудейских гор.

Между прохладой комнаты и жаром улицы провисла тонкая взвешенная кисея.

На пороге стоял ребенок. Замечательный мальчик. Сам на улице, носом пробивал кисею.

— Здравствуй, — сказал он и прошел в комнату.

— Здравствуй, — сказал я. — Чего скажешь?

— Я пришел проверить, как вы живете.

Он ходил по комнате, осматривал мебель, стены, книги, весь нехитрый уют временного нашего жилья, а я терпеливо ожидал приговора.

— Ну как? — спросил я.

— Вы живете прекрасно, — строго сказал он и ушел за порог, как окунулся в золото.

— Ты кто? — крикнул я вслед. — Абарбарчук? Розенгласс? Сорокер-Воронер?

Он даже не обернулся.

Адье-адье — я удаляюсь.

Луань де ву — я буду жить.

Ме сепанданть — я постараюсь

Жаме, жаме — вась не забыть.

Дурилин Михаилъ...

2

Две старушки без зубов говорили про любовь.

Криком.

От глухоты своей.

Соня и Броня.

— Граф Лев Николаевич Толстой первым открыл

нам русского крестьянина, за что огромное ему спасибо...

У подъезда стояла скамейка.

Узкая да короткая: только зад прислонить.

Ерзал по скамейке в непрерывном шевелении смятенный и порушенный старичок-заеда, протирал до дыр форменные штаны с кантиком: заплаты не попевали ставить.

Никак не хотел примириться со скамейкой, с пенсией, с остановленной насильно жизнью: самое время уедасть-уличать-выводить на чистую воду всех этих нарушителей-отступников-уклонистов, — да только власти не стало.

Жизнь позади форменная, как штаны с кантиком.

Путь позади укатанный, как катком по врагам.

Цель впереди грандиозная: без него не сладить.

И он все ерзал да ерзал по сиденью, истирая в испуглении копчик: вот прибегут, вот позовут, вот уж он вгрызется клещом — не оторвать. Да подрастали вокруг новые заеды с несточенными еще зубами: их теперь черед.

— Я научу, — бормотал. — Я подскажу. Я человек в запасе, мне есть что сказать...

Подъезд был заколочен.

Две неструганые доски крест-накрест и ощеренные гвозди вовнутрь.

Гвозди проржавели до красной рыжины, в трещинах асфальта проросла трава: жильцов выселили, квартиры заперли, ремонт не делали, — где-то там решали — не могли решить, чем стать этому дому в конце концов: жильем или учреждением.

Пять этажей. Лифт. Чердак. Подвальные помещения. То ли плохо.

Две старушки без зубов сидели на той же скамейке, воробышками на проволоке, и дружно взбалтывали ногами.

Они тоже были детьми — в свой срок, Соня и Броня, хоть и трудно в это поверить.

Больше того: мы все когда-то были детьми — да-да! — но об этом мало кто помнит.

Самое лучшее в нас — это ребенок. Остальное — значительно хуже.

Вышел продышаться перед сном неотразимый лейтенант Потряскин, похрустел амуницией в свое удовольствие, поиграл тугими ногами, укладывая в галифе мужское свое хозяйство, — тоже сел на скамейку.

Лейтенант Потряскин приехал учиться в бронетанковую академию и потому квартировал за занавеской у волоокой Груни, нимфы местного значения.

На своих харчах да на ее покладистости.

Груня не была преисполнена добродетелями, но женскую свою службу несла исправно.

Она всегда говорила то, что думала, а если о чем-то думала, тут же об этом говорила.

— Рай, — сообщала Груня по утрам, на коммунальной кухне, — это когда вечно кончаешь.

И бронебойный Потряскин не возражал.

Кстати сказать: заеда тоже был ребенком — в свое время, хоть и отрицал это категорически.

У него не поворачивалась голова, у старичка-заеды, и оттого он глядел только вперед.

Зато у него поворачивались уши.

На звук, на свет и на запах.

Еще он запирался в туалетной кабинке, когда приходилось снимать штаны.

Не иначе, хвост прятал. Или кран. Для слива охлаждающей жидкости.

Еще — цокал по паркету, когда ходил босиком, — может, он и правда не был ребенком?

Выращен в колбе, на питательных бульонах, занесен в массовых количествах из глубин Галактики — для потрясения тутошних основ: многое тогда проясняется, случившееся в нынешнем столетии.

Может, это была чья-то дипломная работа?

Чтобы у себя на планете не пакостить.

Поджог рейхстага — четыре с плюсом.

Коллективизация — три с минусом.

Вторая мировая война — зачет...

Вышел из подъезда Усталло Лев Борисович, сел на ту же скамейку.

Он был великий закройщик, этот Усталло, и работал в "органах", в портняжной ихней мастерской.

Из его мастерской уходили в кабинеты богатыри, герои, писанные красавцы, Микулы Селяниновичи и Ерусланы Эдмундовичи, крутогрудые и широкозадые: один лишь Усталло знал, сколько ватина пошло на это, простроченного холста и конского волоса.

Он видел их в одном белье, эти "органы".

Он видел их сметанными на белую нитку.

Он видел их без рукавов и подкладки.

Все их бородавки, болячки, грыжи и потертости видел он. Все их цыплячьи грудки и рахитичные ножки. Все их животики и сутулые спины. Даже органы этих "органов" видел он!

И потому он был засекречен, Усталло Лев Борисович, и на старости лет не смог выехать на свою историческую родину.

— Папа, — кричала Любочка в аэропорту, — мы тебя ждем! Мы тебя ждем, да, папа?! Мама, да?! Мы вас всех ждем! Всех-всех!..

— Димочку подними! — кричал в отчет Усталло Лев Борисович. — Димочку!..

И тянулся кверху на цыпочках, чтобы увидеть в последний раз.

— Я, — сказал он вслед самолету, — боюсь не дожить...

Выглянул из подъезда Лазуня Розенгласс, человек, который просвечивал, привалился у скамейки на краешке.

К старости накапливаются в теле килограммы омертвевших клеток.

Так и тащишь их на себе — бесполезным грузом.

А ведь он выпрыгивал, бывало, из подъезда, единым скоком в пролетку на дутиках — и с ветерком, по Пречистенке.

Чихнет в надушенный платочек, а лихач-бородач степенно ему, по-старинному:

— Салфет вашей милости!

А Лазуня на это, как и положено:

— Красота вашей чести!

И к "Мартьянычу" — пить, петь, декламировать стихи.

Цветы мои пугливые
Завянуть как-нибудь.
И люди торопливые,
Несчастные, счастливые,
Затопчуть весь наш путь...

Скамейка была крохотная, на одного — не больше, но умещались на ней все желающие.

Потому что рассредоточились они во времени.

Потряскина убили в сорок втором году.

Волоокую Груню сослали за сладострастное поведение.

Старичок-заеда ушел в дом для престарелых республиканского значения, сточив зубы до десен.

Две старушки без зубов умерли от недоедания в промежуточные времена.

Они сочувствовали всем обездоленным на свете, Соня и Броня, но им не сочувствовал никто.

Лазуня Розенгласс сник по старости, хотя старым еще не был.

Лазуню схоронил я.

Дольше всех продержался Усталло Лев Борисович.

Ему нужно было разрешение на выезд, чтобы увидеть внука своего Димочку, но он его так и не получил.

Потому что знал чересчур много...

Под вечер, когда немного заглодало и звезды пали на небо, пришел к подъезду тяжеленный мужчина, невиданный в здешних краях.

Сел на скамейку, посопел непомерным носом, покосился на заколоченный подъезд — внимательно и осторожно.

Это был Абарбарчук, скорее всего, которому не сиделось на месте, — но в темноте трудно разобрать.

Томления души он утишал шевелениями плоти, а нашевелившись, возвращался домой и затихал до поры.

Шатун-Абарбарчук.

Всю жизнь ему хотелось куда-то сбежать.

Куда-то и от кого-то.

Быть может, это бунтовала не без причины его битая веками, повизгивающая от ужаса семейная память?

Он не был суетливым по природе, Шатун-Абарбарчук, промежутки между шатаниями он заполнял дремотным существованием, вялым исполнением надоедливых обязанностей, пока не нарастало очередное томление, которое следовало утишить.

Но и на новом месте ему снова хотелось сбежать.

Куда-то и от кого-то...

Фрида знала за ним такую беду и утром надевала на него белую рубаху.

В белой — долго не пошатаешься, воротишься под вечер с грязным воротничком.

Он был брезгливым, Шатун-Абарбарчук, и Фрида этим пользовалась.

Еще он был разборчивым в еде, и Фрида кормила его фаршированной рыбой — по пять раз на неделе.

Рыба полезна.

В рыбе фосфор.

- От твоего фосфора, ... говорил Абарбарчук, — я уже свечусь по ночам.

Но ел...

Были у него когда-то темные рубахи, но Фрида порвала их на тряпки.

Так оно надежнее.

Одну рубаху он припрятал на всякий случай, и утром — Фрида не доглядела — прихватил в сумке с собой.

Дом глядел на него через пылью заросшие окна.

Тени от фонаря — ликами за стеклом — потихоньку сдувались ветром, бледные, смытые временем.

Дом не подавал признаков теперешней жизни, дом выглядел наружу ликами прошлого, и он просидел дотемна, спокойно и расслабленно.

— Отдайте мне этот дом, — попросил представитель вымершей народности. — Я в нем музей сделаю.

— Музей — кому? — заершились законополагающие.

— Тем, кто вымер.

— Да ты что! — ответили ему. — Нету у нас вымерших. У нас никто еще не вымирал без согласования. Все у нас — здоровые, вечно живые.

— Но вот же он я, единственный который на свете! Вот же язык мой — поговорить не с кем!

— Ты его сам выдумал, этот язык.

И пощурились на него, стали нехорошо оглядывать.

Он — туда, он — сюда: допустили его в самый закрытый архив, к самой заветной папке, а там — пусто. Нету ничего про этот народ, — может, его и вовсе не было?

Так кому же тогда этот музей?..

Он встал, наконец, со скамейки, шагнул к подъезду, рывком отпахнул дверь вместе с доской.

Оттуда пахнуло пылью, трухой, затхлостью, слабыми запахами давно пригоревшей пищи.

Подползла на ветерке старая, ожелтевшая газета — пугливым, облезлым псом — и распласталась на затертом кафеле, у ног властелина.

Просторный бельэтаж. Широкие площадки. Переплетчатые окна во двор. До высоченного потолка двери квартир. Лифт в укромной пазушке. Узорные решетки закругленных перил.

Пузом по перилам просквозил донизу Соломон Розенглас, несостоявшийся экспроприатор, и по дуге вылетел на улицу.

— Антипка беспятый... — шелохнулась на этаже вечная вдова Маня. — Вот уж запечатают тебя в тюрьму...

Маня числилась вдовой еще с наполеоновского нашествия, и лет ей было за сто, а то и под все двести.

Барабан зорю пробьет,
Унтер двери открывает,
Писарь с трубкою идет...

Муж у Мани был унтером.

Мане никто не верил в такое ее невозможное вдовство, хоть и была у нее справка — на гербовой бумаге и с двуглавым орлом.

На всякий случай ей не платили пенсию...

Он поднимался по лестнице темного дома и дергал полегоньку двери квартир.

Квартиры были заперты. Звонки не работали. Почтовые ящики пустовали.

На верхней площадке он встал, продышался, послушал тишину.

Там распахнулось окно во всю стену, от пола и до потолка.

Там на побелке темнела дверь в неизведанные помещения — железная, непробойная, и он ощутил малое беспокойство, предвестник нового томления.

Вынул из сумки тряпицу. Расстелил. Бросил на нее подушечку. Передел белую рубаху на темную. Вынул плечики. Повесил на них пиджак с брюками. Закрепил на чердачную дверь. Натянул на себя тренировочные штаны и лег на пол.

Лицом к потолку. Руки за голову.

Было ему жестко. Но было ему покойно.

Кто знает, на какой срок?..

Дом отплывал в сон, как корабль отплывает в изгнание.

Кто-то плакал на этажах.

Кто-то тяжело вздыхал.

Кого-то укачивали с приговорами.

Где-то тихонько играло радио и тыкали пальцем в фортепьяно.

Кошка мылась, мяучила, гостей намывала.

Вечная вдова Маня выговаривала на ночь Соломону Розенглассу.

Маня не любила Соломона, хоть и нянькала Розенглассов кучу несчитанных лет.

— В-первых — Саша, вторых — Маша, в-третьих — сын Ванюшечка...

А были они — Лазуня, Соломон да Циля.

Соломон — досадник.

Циля — легкосердная.

Лазуня — горюнок ты мой.

Она всех пережила.

Вечная вдова Маня, женщина честная, что блюла себя второе уже столетие подряд и не уважала потому Груню-волокушу.

— Для начала выпьем, — начинал Потряскин из-за занавески, скидывая на ночь сапоги.

— Не надо пить, — наивно, под девочку, пела Груня. — Вы же знаете, что потом будет.

Груня уважала Потряскина за его бронетанковость и потому обращалась к нему на "вы".

— Выпьем, закусим, — настаивал Потряскин. — Патефончик послушаем.

— Не надо патефончика, — слабо возражала Груня. — Вы же знаете, к чему это приведет.

— Что такое?! — сердился Потряскин и вылезал из-за занавески. — Пить не надо, патефончика не надо... Что же тогда надо?

— Ничего не надо, — пела Груня, пододвигаясь. — Вы же знаете, чем это кончится.

— А чем это кончится? — спрашивал Потряскин, вылезая из галифе.

Груня клохтала в кулачок откормленной курицей, жадно-жадно облизывала губы шустрым язычком:

— Сами знаете.

Тем оно и кончалось...

Старичок-заеда лежал на той же кровати, только на десять лет позднее, и подпрыгивал от нетерпения, дожидаясь нового рассвета.

Эта комната досталась ему по ордеру.

Эта кровать — бесплатно.

Он не спал никогда, этот старичок, ни днем, ни ночью, — может, в него не заложили соответствующую программу? — а вместо этого томился в постели, головой выерзывал наволочку: скорей бы уж утро, да скорей на работу, чтобы не простаивали без дела директивные его челюсти.

Его только что повысили за рвение, этого заеду, и он обезумел от новой должности...

Устало Лев Борисович тоже не спал.

Он глядел в беленый потолок и прикидывал варианты.

В Москву собирались приехать американские конгрессмены, и он очень на них рассчитывал.

Начинались переговоры по разоружению, и на них он тоже рассчитывал.

Еще он рассчитывал на плохой урожай тут, на выборы президента там, на волнения в Африке, на перевороты в Азии, на примерное свое поведение, на расширяющиеся культурные обмены и на дочку свою Любочку, которая напишет из Израиля куда надо, и его тут же отпустят к внуку Димочке.

Ляжь ко мне на миг, — просил Димочка когда-то. — Ляжь, ну что тебе?

Устало Лев Борисович ложился к нему под бо-

чок, и мальчик начинал шептать на ухо, обдавая теплым молочным дыханием:

— Миг еще не прошел... Миг еще не прошел... Миг будет сто лет!..

Шмыгал по подъезду довоенный парень-воистрец, приглядывался к их замкам, которые предстояло открыть.

Он брал уже этот дом — и не один раз.

Обчистил Розенгласса, обобрал Груню, проредил Усталло Льва Борисовича, а к Соне и Броне не пошел, хоть и запирались они — копейкой открыть можно.

Соня и Броня были ему профессионально неинтересны.

— Я человек легкий, — хвастался. — Я вам в любую ключевинку прольюсь...

Он не знал еще, парень-воистрец, что это была его последняя ноченька, последнее развеселое гужеваньице, и что немцы уже загоняли снаряды в стволы и подвешивали бомбы под крыльями.

Начнется поутру жизнь войная, без конца-жалости, оттяпают ему ногу в медсанбате, — и будет потом костылик, да протянутая кепка, да пропитой до хрипоты тенорок с переплясом:

Что ж ты, мила, не встречаешь?

Али дома тебя нет?..

Шатун-Абарбарчук утихал на затертом полу.

Оплывал мыслями, памятью, чувствами.

Заваливался в немоту, в слепоту, в полное утишение плоти.

И опустились к нему папа с мамой — на лестничную площадку, как сына навестили в детском саду: с едой и с подарками.

Он даже запах ощутил знакомый, из маминого кулечка: это был кугель, с гусиными шкварками кугель, который подавали на стол в субботу.

Запах уносило кверху, без возврата, и он тоже вознесся следом, чтобы унюхать, тело свое оставив под залог...

К маме Абарбарчук пришли сваты, дали ей запутанный моток шерстяных ниток -- для проверки характера.

Мама Абарбарчук тогда еще не была мамой и очень потому постаралась. Она просидела, не разгибаясь, полдня и распутала весь моток, не порвала ни разу.

— Хороший характер, — сказали сваты. — Это нам годится.

И повели ее под хупу.

Под хупой ее уже ожидал папа Абарбарчук.

Папа был молод тогда, очень молод, он не знал еще, чего делать со своей женой, и к нему был приставлен особый старичок, чтобы обучить этому несложному искусству.

Но зато у него был нос.

Самый большой нос во всем местечке.

Этот нос перешел потом к его сыну, а от сына — к внуку.

Не иначе, какой-то шаловливый ген прыгал у них в семье с носа на нос, никак не желал отвязаться.

Ген-антисемит.

Папа Абарбарчук оказался непоседой.

Папа пешком ходил в Могилев Подольский, Бельцы, Атаки и Флорешти, даже если доходу было на пятак.

У него никогда не болели зубы. До самой смерти.

Он даже не верил, что они могут заболеть.

— Это же кость, — говорил папа. — Кость не болит.

Перед японской войной папа уехал в Америку.

Он там работал, он много работал и накопил деньги на шифс-карту — жене и сыну.

Вернулся — в костюме, в котелке, с чемоданом и тросточкой: забрать своих.

— Ах! — сказала мама Абарбарчук. — Это же анг-

лийский лорд, люди! Где ты достал все это, Мойше-ле?

— Где достал? — сказал папа. — Я работал, Рейзеле. Я много работал. Я работал семь дней в неделю и все это заработал.

— Что?! — сказала мама. — Чтобы я поехала в эту гойскую Америку, где работают по субботам? Так нет же!

И они остались в местечке.

А в сорок первом году пришли немцы, столкнули в ров стариков со старухами и сверху присыпали песком.

И папу с мамой столкнули тоже...

4

Вечная вдова Маня рано ложилась спать, насмотревшись по телевизору всякой всякоты.

Особенно она любила бокс.

Бои тяжелого веса.

Даже подскакивала на стуле при хорошем ударе.

— Старушка ты кровожадная, — выговаривал ей Лазуня. — Постыдилась бы напоследок.

— Посмейся, посмейся, — бурчала она с лежанки.

— Вот ужо скажу зятю: он те наволдыряет...

Зятя у Мани давно не было.

Зятя убили в севастопольскую еще кампанию, ядром по башке.

Но Маня оговаривалась постоянно.

Они жили вдвоем, в одной комнате, после уплотнения: Лазуня-холостяк да Маня-вдова.

Вся комната была заставлена горшками, в которых рос Ванька-мокрый, любимый ее цветок.

Надумал жениться:

— Обойдешься.

Уперся — она в паралич слегла.

Передумал — спрыгнула с лежанки, будто новенькая, наварила ему пшенной каши.

А не балуй в другой раз...

Кроме бокса, она любила еще и пожарных.

Аж холодела при виде!

Укатывалась на дальнюю улицу, звонила из автомата, содрогалась от нетерпения на тонких ножках.

— Приезжайте! Полымем полыхает.

А там уж глядела во все глаза, как катят они с шумом и грохотом, красные, сверкающие, брезентово-несминаемые, и в дуделку на ходу дудят...

Вот он подумал однажды:

Расстреливают, дают последнее слово, самое последнее! — а сказать-то и нечего.

Нечего выкрикнуть горлом, выхаркнуть кровью, легкие вывернуть наизнанку, чтобы вздрогнули на прощание, обернулись, запомнили хоть на миг.

День целый ходил, думал, томился: пошлость одна на уме.

И вечером, когда вдова Маня утихла на лежанке, он вынул из сундука заветную тетрадку — RELIEF-ALBUM, уложил ее на клеенку и стал записывать потихонечку, под Манино сопение, макая перо в чернильницу, посыпая написанное мелким просеянным песочком.

Косное поначалу, туманное, мыслью просвеченное под конец.

Он писал:

”Всякая тирания, которой предстоит борьба с синкомыслием, должна смириться с ожидающей ее в будущем эволюцией противника. Сначала против нее выступят мамонты, прекраснодушные травоядные идеалисты, с которыми она справится быстро и без особых хлопот. Мамонты самой эволюцией обречены на нежизненность, и их уничтожат легко и просто. Им, мамонтам, ничего не надо, кроме — разве что — справедливости, и за неимением таковой в природе они могут вымереть и сами, стоит только подождать. Но на смену мамонтам придут гиены и шакалы, пле-

мя более мелкое, но зато и более многочисленное. Этим уже одной справедливостью не утолишь. Этим злость застилает глаза при виде неравномерного распределения продукта. Этим надо бы подкормить, да погладить по шерстке, но и их уничтожит тирания под видом инакомыслия. Ошибкой было убивать мамонтов, которым надо поровну распределить траву. Ошибкой — убивать шакалов, которым нужно мясо поровну с их силой и алчностью. Потому что на смену этим придут новые противники — крысы. Бесчисленное количество врагов, которые будут рваться к горлу, только к горлу, слепые и беспощадные в погоне за кровью, которых ничем уже не утолишь. Они-то и поборют вашу тиранию, подгрызя сначала поджилки, чтобы упал колосс и открыл доступ к незащищенному горлу. Они-то и победят, и установят новую тиранию — безжалостного большинства, что будет пожирать самое себя, оказавшееся в меньшинстве... Нет, всякая тирания — если она, конечно, умная тирания — обязана беречь своих травоядных врагов-мамонтов, бороться с ними вяло и бесконечно, чтобы — не дай Бог! — не пришли на смену мамонтам иные противники. Но где вы встречались с умной тиранией?..”

— Женись, женись, — поддугивала Маня с лежанки. — Вот ужо скажу внуку -- он те чих-пых устроит...

Внука у Мани тоже не было.

Внука распластали в турецкую еще войну, саблей наперек.

Турок душит, сердца рушит.
Пламенем, огнем и копьем...

Но Маня об этом позабыла.

По воскресеньям, когда делать было нечего, забредал поскучать Усталло Лев Борисович и рассказывал Лазуне грустно и застенчиво:

— Дети растут. Дети вырастают. И уходят уже в

собственный мир, куда нет тебе доступа. Это была ошибка: завести одного ребенка. Детей нужно много. Очень много. Чтобы всегда бегал маленький в доме... Что вы на это скажете?

— Я скажу на это, — говорила Маня от телевизора и губы поджимала на незваного гостя. — Я тебе так скажу. Заимели власть, ворвались — ног не вытерли, потеснили, запоганили, загваздали пол. С того и пошло.

Усталло Лев Борисович уходил к себе, сутулясь от огорчения, и Лазуня ей выговаривал:

— Злопамятная ты старушка! Зачем человека обидела?..

К тому времени они уже закрыли границы.

Ввели прописку.

Подключили мощные свои заглушки.

Мир суживался стремительно, на глазах, просторный когда-то мир, и врачи на приемах подбавляли свое.

— Вы не бегайте, — говорил первый врач. — Зачем вам бегать? Не надо. Ходите себе потихоньку.

— Вы не загорайте, — говорил другой. — Категорически. Вам это не нужно. Вам — вредно.

— Коньяк, — говорил третий, — ни-ни. Водку — тоже. Пиво тяжелит. Кофе волнует. Молоко пучит. Мясо возбуждает...

И мир сузился до размеров комнаты.

Но Лазуня сопротивлялся. Лазуня упрямо бежал по универмагу, пихаясь локтями, обгоняемый и обгоняющий, а за дальним прилавком стояла старая продавщица и глядела на него жалеючи.

— Не завезли, — говорила продавщица, и Лазуня покорно брел назад, чтобы завтра повторить все сначала.

Он вставал до рассвета у дверей магазина, жался в густой толпе, нервно перебирал ногами и врывался потом вместе со всеми — по этажам, по лестницам, к нужному ему прилавку.

— Не завезли, — говорила жалостливая продавщица, и сердце снова выпрыгивало из горла.

Были у него уже знакомые в толпе.

Были соперники на дистанции.

Были и редкие счастливцы, что добежали первыми и захватывали единственные экземпляры.

Через два месяца попыток, когда окрепли ноги и установилось дыхание, Лазуня добежал третьим, а завезли их всего — четыре.

Он купил радиоприемник "Рига-10" и под завистливые взгляды обделенных уволок домой.

Теперь он сидел возле него ночами, прорывался через заглушки в просторный и запретный мир, переживал, мучался и пугался.

Однажды через вой и скрежет пробился к нему ехидный вражий голосок. Он издевался над отцом народов, этот поганец, так изощренно и так изобретательно, что Лазуня дрогнул, пошатнул тумбочку, и вожделенный радиоприемник "Рига-10" вдребезги разбился об пол.

Надо бы снова бежать по магазину, да денег не было больше и сил не стало, — и мир сузился окончательно до размеров комнаты.

Он писал:

"Монополии на человека нету ни у кого, хотя многим очень бы хотелось ее занять. Всякая монополия, если она состоится, будет устанавливать свой коридор, по своему масштабу и разумению, где вольно станут резвиться обделенные, где приспособятся более терпеливые к постоянным стукациям о стены и где невоготу будет натурам неограниченно богатым. Всякая монополия должна быть готова к тому, что ее вечно будут нарушать, подтачивать и подкапывать изнутри, чтобы вырваться на просторы человеческого разума. Монополия на спиртные напитки возможна. Все равно будут курить самогон. Монополия на человека чудовищна. Она отрицает самого человека..."

– Поговори у меня, – грозила Маня с лежанки.
– Скажу правнуку – он те уже отвалтузит...

Правнука у Мани тоже не было.

Правнук сгинул еще в Порт-Артуре, его косоглазый на штык насадил.

Этих косоглазых, как мурашей на кочке, – их разве передавишь?

Но Маня этого не помнила.

По вечерам, когда дальнобойный Потряскин гужевался с Груней и дом подрагивал от танковых усилий, вдова Маня выходила в коридор и скреблась в ихнюю дверь.

– Груня, – говорила она лстивым голоском. – За мной должок, Груня. Я те хлебца принесла на возврат да яиц пяток.

Но Груни за дверью не было.

Груня летала в этот момент в безвоздушных пространствах, где не нужны уже ни хлеб, ни яйца, ни прочие земные улады.

– Бабка! – ревел из-за двери великолепный Потряскин. – Броня крепка и танки наши быстры, бабка! И наши люди мужеством полны!..

И Маня уходила довольная.

Зловредненькая ты старушонка, – отчитывал ее Лазуня. – Все-то тебе неможется...

И снова садился за клеенчатый стол: листать свой старинный альбом, читать прежние записи, вспоминать, думать...

Все альбомы и стихи
Суть ничто как пустяки.
И советую тебе
Не держать ихъ въ голове...

В каждом учреждении свой беспорядок.

У одних – строгая тишина в комнате, чистота, рабочая обстановка, а в курилку не войдешь – полно.

У других – огромный коридор, и по нему с дело-

вым видом ходят сотрудники. Весь день. Сомкнутыми рядами.

У третьих беспорядок – веселый, суматошный. Нужен документ – все бегут за документом. Нужен отчет – все за отчетом. Кучей. Наперегонки. Шумно и радостно.

Ты начальник – я дурак. Я начальник – ты дурак. Но если ты начальник, а я не дурак, – что тогда?

Лазуня Розенглас поменял много работ, нигде надолго не задерживаясь.

Говорили, что он ленив, вял и инициативен.

Но он не был ленивым.

Всякий раз перед новым делом он продумывал смысл будущей работы, и не было желания начинать ее, не было сил – закончить.

Он писал: "Так где же нам взять свежие мысли, великие идеи, грандиозные, вздох, свершения? Все, что мы обдумываем, давно уже думано-передумано, пока мы давились под плитой. Все, что мы решаем, давно уже решено и отброшено за ненадобностью. Все, что мы предвосхищаем, давно уже позабыто в пыльных архивах. Что же остается взамен? Дутость имен. Несуразица жизни. Мерзость ленивого запустения..."

Соня и Броня, синие от недоедания, заглядывали, бывало, на огонек и криком спрашивали с порога:

– Товарищ Розенглас, разъясните нам, пожалуйста, текущий момент.

Соня и Броня с радостью интересовались всем на свете, но ими не интересовался никто.

– Это мы сейчас, – ерничала с лежанки вечная вдова Маня. – Это мы в момент!

И тогда они спускались в подвал, в домоуправление, садились по глухоте своей в первый ряд и проходили заново курс политграмоты – для дворников, лифтерш и водопроводчиков.

Соня и Броня слыли у них отличницами.

– Были люди, – говорила Маня на это, – а теперь вылюдилась.

И Лазуня прятал улыбку.

— Разбессовестная ты моя старушка, — журил он ласково. — Все-то она понимает...

— Нешто, нешто, — бурчала без злобы. — Вот уж позову праправнука — он те на раз кончит...

Праправнука у Мани давно не было.

Праправнук задохся еще в империалистическую от вредных немецких газов.

И прапраправнука тоже уже не было.

Его в гражданскую расстреляли за побег.

То ли от белых к зеленым, то ли от красных к белым.

Маня не разобрала...

Возле родильного дома его остановила женщина.

В черной шапочке. В строгом, прямого покроя, пальто. Отрешенная, как монашка.

— Не откажите, — сказала. — Там у меня сестра. Ее надо встретить.

И они вошли внутрь.

— А почему я? — спросил Лазуня.

— Вы мне понравились, — ответила без улыбки.

В зале было полно. В зале было шумно и суетливо. Свали в окошко свертки, банки с компотом, яблоки, писали по углам записочки, дежурная у телефона скороговоркой называла цифры: три триста, три пятьсот, сорок семь, сорок девять, пятьдесят два... Лазуня с любопытством вертел головой. Первый раз в таком месте. Раньше не приходилось.

— А где у ней муж? — всполошился. — Где муж?! Это его дело.

— Нету мужа, — ответила женщина.

Тут приоткрылась боковая дверь, тетка в балахоне стыдливо сунулась наружу и закричала громким шепотом — в угол, дядечке с кошелкой.

— Ты что, офонарел?.. Все принес, а где платье? Платье где? Как я домой пойду?..

— Там оно... — растерялся дядечка. — Я клал.

— Клал, клал... Кабы клал, так было.

И голова исчезла.

Дядечка затоптался, заелозил подошвами, искательно ловил сочувственные взгляды.

— Разве упомнишь? Тут тебе — штаны да рубаха, а у них — и того, и этого... Одной сбруи — мешок.

— Ничего, — беспечно сказали из толпы. — Сегодня тепло. Доедет и без платья.

Но уже выходила нянечка, выносила аккуратный сверток в голубых лентах, а следом торжественно шла тетка, старательно придерживала полы пальто. Дядечка чинно поцеловал супругу, принял ребенка, все расступились, и медленно, плечом к плечу, они пошли к двери.

Лазуня глядел во все глаза.

Даже в глазу защипало.

— Милая, — сказал. — Я уже старый для этого.

— Вы не старый, — ответила. — Вы солидный.

Но опять выходила нянечка со свертком, он напряженно и неуклюже принял ребенка, поразился его легкости, и тут из-за двери шагнула девушка, встревоженно взглянула на него. Глаза — светлые, чистые, прозрачные, зрачки — донные камушки, омытые быстрой водой. Взглянула — руки потянула к ребенку, но женщина замахала ей торопливо, и они пошли к выходу через расступившуюся толпу. Впереди Лазуня, за ним — женщины.

— Строгие... — заметили в спину. — Даже не поцеловались.

Вышли на улицу, сели в такси, приняли у него ребенка.

— Спасибо, — холодно, как чужому, сказала женщина, а сестра ее промолчала, только взглянула на миг светло и прозрачно.

И они уехали.

— Чего же тебя-то не взяли? — спросили от дверей.
— Или не нужен больше?..

И тогда он проделал такой эксперимент.

Целую неделю он не являлся на работу, не звонил,

не отпрашивался, не объяснял причин, и никто его там не хватился. Не спросили. Не поинтересовались. Даже зарплату выдали сполна.

— Так где же тогда я? — сказал сам себе. — И что я? И зачем?

Лазуня Розенгласс — человек, который просвечивал.

Это как промытое стекло.

Вот оно есть, и вот его нет: на просвет видно.

В тот вечер он записал:

”Стоял в зале бильярд. Новенький, неразбитый еще бильярд — мечта игрока. И костяные шары, и намеленные кии, и лузы, покойные, удобные гамаки-лузы, в которых так приятно расслабиться и отдохнуть после беготни по зеленому, необтертому еще сукну. И одного загнали сразу, с первого удара, и другого сразу, а третий свалился сам, с перепугу, и четвертый почти сам: так, подтолкнули для видимости, а один — герой, выскочка, позер, портупея крест-накрест, а один — шустряк, вертун, неумный дурак — ошалело метался от борта к борту под хлесткие удары кия, сталкивался, отлетал, набивал себе шишки, не лез в лузы — не лез, и все тут! — взбесившийся парадокс, обалдевая игра случая, а зрители уже обступили стол, зрители аплодировали его упрямству, зрители подтрунивали над остервеневшим игроком-профессионалом, будто и они герои, будто и мы герои, позабывшие на миг собственные гамаки-лузы, в которых так приятно качаться...; но вот уже тщательно намелили кий, прицелились для последнего удара, и вот он с треском, будто взрываясь, залетел в лузу, обалдело качаясь в гамаке, надеясь выпрыгнуть еще обратно, а игра-то уже закончена, игра закончена, граждане, игра — она и должна когда-то закончиться. На то она и игра. Назад не выпрыгивают... И зрители отвернулись разочарованные: слабак! И зрители ушли раздосадованные: слюнтяй! Зрители отправились к другому столу, к новому иг-

року, в вечной надежде на удальца-храбреца, выскочку, героя, позера — портупея крест-накрест, что продержится до конца, до эшафота, до венца мученика, которому погибнуть — одно наслаждение, для которого петля — галстук, пуля — муха, тюрьма — дом родной. Который удовлетворит нашу вечную тоску по силе и гордости. Которому мы не простим даже секундных колебаний. Ах, он не хочет идти на казнь?! Ах, она отказывается от каторги?! Ах, они тоже цепляются за жизнь?! Не о таких героях мы мечтали!.. Ведь мы слабые. Мы очень слабые. И мы никому не простим наши слабости...”

Вечная вдова Маня схоронила Лазуню Розенгласа на еврейском кладбище, возле сестры его Цили, проела напоследок остатки хрустала с фарфором бывшего торгового дома “Розенгласъ и С-нъ” и зашла на лежанке.

Могила у Лазуни была комолая, без креста, и Мане это не нравилось.

— Вот ужо скажу... -- грозилась. — Он те отлупцует...

А сказать — некому.

Ни Цили, ни Соломона, ни Лазуни-горюнка.

Между многими друзьями
Можешь ты меня забыть,
Но межъ этими строками
Будешь помнить и любить...

Каждый год, ко дню Иом-Киппур, покупает Лазунин племянник особые стаканчики с воском и фитильком: тут, в Иерусалиме.

В память отца зажигает стаканчик.

В память матери Цили.

В память дяди своего, Лазаря, что бывал добр к нему, щедр и ласков.

Теплятся огоньки в воске, колышатся на безветрии, опускаются неумолимо в глубины стаканчиков.

Одни потухают через положенные им сутки, другие тянутся еще пару часов, и остается один огонек, невозможный, необъяснимый, что теплится на дне стаканчика, не желает угасать, — не желает, и все тут! — будто душа поминаемого хочет побыть с тобою еще, еще немного, еще и еще... Как борется с темнотой и забвением.

А через год — опять Судный день, новые стаканчики с воском, и новая душа, что никак не желает угасать...

5

По ночам кто-то вздыхает в туалете...

По ночам кто-то вздыхает в туалете: тяжело, устало, можно сказать — обреченно. Вздыхает так, будто жизнь уже на исходе, а результатов все еще не видно. Или того хуже: результаты налицо, вот они — результаты, но далеко не те, которых ожидали. Уж лучше бы их вовсе не было — результатов.

По ночам кто-то вздыхает в туалете. Давно вздыхает, не первый уже год. Приходил порой водопроводчик, чего-то маракровал на стремянке, подстукивал, подкручивал, подвязывал тесемочкой, привычно оттопыривал карман для денежных подношений, но и после этого ничего не менялось, ровным счетом — ничего, и только бачок обиженно плевался стариковской слюной, словно не мог простить, что лазали ему в душу корявыми плоскогубцами. Старый бачок под потолком, с чугунными кронштейнами, слохматой бечевкой взамен оторванной цепочки, с вывихнутыми суставами подтекающих труб... В последний раз водопроводчик застеснялся вдруг, не оттопырил карман, обреченно махнул рукой, и все поняли — безнадежно. Раз уж не взял денег, значит, на самом деле безнадежно. И тоже махнули рукой. И отступили. И дали ему вздохнуть в свое удовольствие, — разве вздох — это не удовольствие? — и извергаться по

многоу раз за ночь, только теперь в его вздохе проступили нотки – не превосходства, нет – нотки мудрой, безрадостной усмешки. Словно выпарились остатки воды, и колышется на донышке едкая, маслянистая, дымящаяся на воздухе, горло обжигаящая кислота – превосходство мудрого бессилия. Все утекает, утекает, утекает, и даже бог-водопроводчик ничем не может помочь...

Тут он проснулся.

Поежился знобко.

Покряхтел на жестком полу.

Пожмурился, удерживая воспоминания.

Папа и мама Абарбарчук уплывали в ночи, за железную дверь: без надежды-возврата, и это его томило.

Не было уже возможности усидеть на месте, тем более – улежать.

Гнала его вперед дурная, безостановочная сила, как подпирал мочевого пузыря, требуя незамедлительных действий.

Но первый шаг был труден. Как всегда, труден был первый шаг...

На площадке, у его изголовья, примостились на подоконнике двое.

Степенные. Аккуратные. Непробиваемо-незыблемые. Гордые – сил нет! С непомерным к себе уважением.

Не иначе, слесари-лекальщики, токари-карусельщики, инженеры-проектировщики.

Стояла на подоконнике бутылка. Нарезаны были огурчики. Колбаска кружочками. Две стопочки. Газетка – для очисток. И отрывной календарь незнамо за какой год.

Брали календарь, листали странички, пили понемногу, малыми порциями, чтобы на многих хватило.

Выпьют – и оторвут листочек.

Выпьют – и еще оторвут.

— За семьсотпятидесятилетие со дня рождения Александра Невского!

— За две тысячи четырехсотпятидесятилетие со дня рождения Еврипида!

— За семидесятипятилетие со дня основания Горловского машиностроительного завода!

— Шли бы вы по домам, — советовали им жильцы. — Там, что ли, нельзя выпить?

— Дома само собой, — отвечали солидно. — Здесь — само собой.

И снова:

— За девяностолетие со дня выхода первого номера журнала "Электричество"!

— За девятьсотпятидесятилетие со дня смерти Абдуль Касим Фирдоуси!

— За четырехсотпятидесятилетие со дня смерти Рафаэля Санти — итальянского живописца и архитектора!..

Но Абарбарчук их не увидел.

Даже запаха не учуял — с прежних времен.

Встал, телом отжал легкие тени, вниз пошел, на улицу. По дороге не утерпел — рванул дверь в квартиру, еще рванул и еще.

Дверь отворилась, как открыли изнутри.

Лежал под ногами забытый половичок.

Коридор уводил в квартирную темноту, где кто-то еще шептал, шевелился, надеялся, не зная, что наступило уже долгожданное завтра, в котором они — вчерашние.

И Абарбарчук прошел коридором, тяжелый, массивный, сегодняшний, заперся в туалете и затих ненадолго.

И квартира тоже затихла. Как притаилась за дверью до случая-надобности.

А заеда уже докладывал через замочную скважину, прямым проводом из прошлого в будущее:

— Предупреждаю. В квартире. Свито гнездо. Уклонист Розенглас. Приспособленец Усталло. Пора-

женец Потряскин. Разложенец Груня. Подстрекатель Маня. И две троцкистки — Соня и Броня.

И побежал горохом, по особому заданию: куснуть недокусанного.

Его выдавала педантичная ретивость, несвойственная местному населению, и полное отсутствие половых и национальных признаков.

Только идеологические.

Быть может, они размножались почкованием?

От яблони яблоко, от заеды заеда.

— Я мелких гадостей не делаю, — говорил он обычно и кусал по-крупному.

Эту чудную, патриархальную планетку они избрали для своих экспериментов.

На этой милой, провинциальной планетке они проверяют на практике свои дурацкие теории, защищают диссертации, получают научные звания и двигают вперед ихнюю науку.

Вся наша история — это опытная модель какого-нибудь плешивого очкарика из глубин Галактики, которому дали побаловаться на Земле несколько тысяч лет.

Потом нас сотрут, как мел с доски, вырастят взамен новую протоплазму и дадут эту планету следующему очкарику для проверки его вонючей теории.

А ты живи себе...

Вдруг что-то грохнуло в коридоре, с мерзким корытным бряканьем забилося на полу.

— Не выходить, — пригрозил парень-вострец, увязывая узлы. — Могут быть хорошие неприятности.

На нем были туфли — загляденье. Курточка — о такой только и мечтать. Брючата со складкой — порезаться можно.

— Я и не выхожу, — сказал Усталло Лев Борисович из глубин туалета. — Чего мне выходить? Тут хоть посидишь в свое удовольствие... Кстати, вам эту курточку пошили или вы сворovali ее готовой?

Абарбарчук вышел из туалета и встал на пороге.

Дверь в комнату была открыта.

Занавеска отдернута.

Незабываемый командир Потряскин собирался на войну и складывал в мешок снаряжение с продовольствием.

Еще он разминал мускулы на руках и ногах, чтобы дать отпор зарвавшемуся врагу.

— Мужичок! — сказал он Абарбарчуку. — Имею адресок на прощание. Девочки: что ты, что ты! Уведут — себе не прощу.

Волоокая Груня сидела на постели и капала слезой на пухлые коленки.

— Какие еще девочки? — сказала Груня. — Вам на войну пора.

— Груня! — заревел Потряскин. — Не сбивай мне наводку, Груня!

И поиграл тугими ногами.

Все войны делятся на справедливые и несправедливые.

Справедливые — это когда ты убиваешь.

Несправедливые — это когда тебя.

Для Потряскина это была справедливая война, на которой его несправедливо убили.

— Ништо, — сказал он. — Я им просто так не поддамся. Я их с собой прихвачу, на тот свет, этих сраных Гудерианов!

И полез на прощание из галифе.

Пять минут напоследок, как пять жадных затяжек.

Так жил и так умирал геройский герой Потряскин, которого не сломить никому.

— Гражданин, — позвала Груня, пододвигаясь. — Угол у меня освобождается. За занавеской. Не желаете ли квартироваться?..

Абарбарчук вошел в комнату.

Стояла у стены железная кровать с сеткой, но без матраца.

Он покачал ее, подергал, лег — кулак подложил под голову.

Свисали со стены обои — клочьями. Паркет вздувался от времени. В углу, у окна, цвела плесень на потолке. Жгуты электрических проводов зарастали пылью на фарфоровых изоляторах.

А на полу лежал долгоносый мальчик в пижаме и стрелял по двери из пулемета.

Был он бледный, вихрастый, с просвечивающими ушами, дышал тяжело, приоткрыв рот, — не иначе, замучили аденоиды.

— Ты чего это по трупам ходишь? — недружелюбно сказал мальчик.

— По каким еще трупам?!

— Да вон. По вражеским.

— Строгий ты, — пожаловался Абарбарчук. — Тебя как звать-то?

— Жухало.

— Как, как?

— Жухало, вот как.

— Почему Жухало? — спросил.

— Потому что жухаю.

— Всегда?

— большей частью.

Абарбарчук понимал уже, что он спит и что мальчик ему только снится, но Жухало этого не знал и жил по-настоящему. Лишь пулемет был понарошечный.

— А фамилия у тебя какая, Жухало? — спросил Абарбарчук, холодея от предчувствий.

— Фамилия у меня хорошая, — ответил тот. — Не хуже других.

— Ну и ладно, — умилился почему-то. — Иди спать, Жухало. Поздно уже.

— Мне нельзя спать, — сказал тот серьезно. — Мне врач не велел.

— Ну?!

— Ага. Мне и есть нельзя. Хлеб нельзя. Мясо. Картошку. Молоко. Мороженое можно...

Абарбарчук испугался:

— Что же теперь делать?

— Не знаю, — сказал Жухало. — Я в садике кашу вчера поел — уколы делали.

И добавил, подумав:

— А садик у нас сгорел.

— Садик?!

— Садик.

— Перестань...

— Сгорел, сгорел... И игрушки сгорели. И кровати. Все сгорело.

— Ты зачем врешь? — спросил Абарбарчук. — Тебе что, скучно?

— Мне скучно, — согласился Жухало. — Я совру, мне и весело.

Абарбарчук уже догадывался по замечательному носу этого ребенка, что семя его не растратилось без пользы, но проследить дальнейшее передвижение потомков было ему не дано.

— Ты где живешь, Жухало? — спросил он.

— Я дома, — ответил мальчик. — А ты где?

И пострелял по двери из пулемета.

— А я в заброшенном помещении, — сказал Абарбарчук и почему-то заплакал.

— Ты, дядя, домой иди, — посоветовал мальчик.

— А то тут скоро потолок обвалится.

— Ладно уж, — посопел Абарбарчук уныло. — Так проживем, без потолка.

Жухало оживился, даже гундосить перестал:

— А без потолка дождь зальет.

— Не зальет, — сказал Абарбарчук. — Я тогда зонтик открою.

Жухало прикинул в уме и радостно сообщил:

— А с зонтиком в туалет не войдешь.

— Зачем мне туалет? — пригорюнился. — Только что оттуда.

Он понимал уже, что скоро проснется, и торопился выяснить подробности.

— А где у тебя папа с мамой?

— Где надо, — ответил мальчик и сам спросил вдруг: — У тебя коленки трещат?

— Еще как.

— Покажи.

Абарбарчук встал с кровати, присел, затрещал коленками.

— И у папы трещат, — сообщил Жухало. — А почему?

— Новые потому что, — объяснил Абарбарчук. — Новые коленки всегда трещат.

Жухало взвизгнул от удовольствия и выпустил по врагу длинную очередь.

— Ты ко мне приходи, — велел. — Вместе врать будем.

— Ладно. Как захочется врать, сразу к тебе.

И спохватился:

— А как же я тебя найду?

— Найдешь, — сказал Жухало. — Визу получишь и найдешь.

И кто-то вздохнул в туалете...

6

По ночам кто-то вздыхает в туалете...

Усталло Лев Борисович тоже вздыхает: часто, легко, как на вечном бегу, а этот — безнадежно долго, в безрадостном упоении, будто есть ему о чем вздыхать, а Льву Борисовичу — не о чем. Будто у него — не у Усталло Л. Б. — дочь укатила с внуком в недоступные теперь края. Будто у него — не у Усталло Л. Б. — цепь привязана к ноге — не шагнешь. Будто у него — не у Усталло Л. Б. — жизнь на конус пошла, вот-вот оборвется, и не увидишь тогда внука своего Димочку.

Будто у него — не у Усталло Л. Б.

— Левушка, — говорил ему бывало храбрый командир Потряскин, надраивая хромовые сапоги. —

Не надо задумываться, Левушка. Надорвешься. Пошли лучше по бабам. С получки — сам Бог велел.

— Это ваш Бог велел, — отвечал Усталло Лев Борисович. — А я, между прочим, мужской закройщик, товарищ командир Потряскин. Женщины не по моей специальности.

И краснел безо всякой причины.

Он был единственным в своей портняжной мастерской, кто не пил, не курил, в складчинах не участвовал и истово копил деньги для дочки своей Любочки. Потом он стал копить для внука своего Димочки.

Ненавидели его за это страстно, всем портняжным коллективом.

В день получки он вставал первым у кассы. Всегда самым первым. И ждал потом долго, пока откроют.

— Не достанется, что ли? — хихикали сослуживцы.

— Достанется — не достанется, — отвечал Усталло Лев Борисович, — этого я не знаю. Я получу свое, а там как хотите. Еще деньги кончатся, или их вообще отменят... Нет, нет, рисковать я не могу. Я получу. Я получу, а вы как знаете.

И уносил домой до копеечки.

— Папа, — сказала Любочка однажды. — Давай уже не увиливай. Ты даешь согласие или нет?

Усталло Лев Борисович повел на нее измученным глазом.

Он с вечера еще догадался об этом, когда она шушукалась в углу со своим блондинчиком, и юркнул поскорее в постель.

— Я больной, — сказал он и спрятался под одеялом от нависшей ответственности.

Ночью был приступ. Приезжала неотложка. Делали укол в вену. На столе, в пепельнице, горкой лежали ампулы с обломанными головками.

— Ты не больной, — сказала Любочка. — Ты здоровый. Притворяться будешь перед врачами.

И отдернула одеяло.

— Дай мне умереть, безжалостная! — закричал Усталло Лев Борисович без особой уверенности в голосе. — А потом делай, что хочешь.

— Ты не умрешь, — сказала Любочка. — Тебе еще рано.

Над кроватью, в фигурной рамочке, висел на стене дедушка Усталло — в ермолке, праздничной капоте и с бородой до пояса. Лев Борисович взглянул на него, глазами в глаза, будто посоветовался.

— Любочка, — спросил он жалобно, — кто будут твои дети?

— Люди, папа.

— В паспорте есть графа, Любочка.

— Люди, папа.

— В анкете есть пункт.

— Люди, папа!

— Твой дед был еврей, Любочка.

— Люди, папа, люди!

— Люди, — повторил упрямо Усталло Лев Борисович, — это я понимаю. А какая у людей будет национальность?..

”Лев Борисыч! — написал блондинчик из Иерусалима. — Дорогой! Вам уже нечего беспокоиться. У матери еврейки и ребенок еврей: такие уж тут законы. А я со своей голубой немецко-шведско-литовской кровью вроде бы и ни к чему уже...”

И Лев Борисович улыбнулся на расстоянии.

Он был замечательный закройщик, Усталло Л. Б., и давно бы уж стал заведующим портняжной мастерской, если бы не один серьезный дефект.

Усталло Лев Борисович косил от рождения на сторону и не смотрел поэтому людям в глаза.

А это всегда подозрительно.

Вернее сказать, он смотрел, и только в глаза, но они этого не ощущали и числили за ним всякие козни.

— Лев Борисович, — говорили ему на примерке

неусыпные наши "органы". — Куда это вы смотрите, дорогой?

— На вас, — отвечал Усталло — рот полон иголок.

— На нас... Мы вон они где, а вы куда уставились?

— Да у меня косоглазие, — оправдывался по привычке. — Еще с детства. Один глаз на вас, другой на Кавказ.

— За Кавказ... — поправляли "органы" со смутной усмешкой. — Лечиться надо, Лев Борисович.

— Ладно... Проживу и так.

— Вам ладно — нам не ладно.

— Да оно не лечится! — и иголки чуть не глотал от ужаса. — Оно у меня прогрессирующее!

— А мы принудительно, — отечески шутили "органы" и уходили в свои кабинеты, широкогрудые и крутозадые.

Усталло Лев Борисович пугался всякий раз несказанно и поскуливал потом под одеялом всю бессонную ночь.

— Товарищ Усталло, — выговаривали ему за это Соня и Броня, подучившись на досуге политграмоте, — разве вы не видите вокруг приметы нового? Разве вы не знаете, что новое пробивает себе дорогу в борьбе со старым?..

Этого он действительно не знал.

Он знал одно в своей жизни, Усталло Л.Б. Семейю свою. Дочку свою Любочку. Внука своего Димочку. И этого еще, блондинчика, которого — хочешь не хочешь — надо теперь терпеть.

А блондинчик был какой-то странный у них, едкий и с подковырками, а когда говорил — очень хотелось ему поверить, хоть и не верилось ему совсем.

— Маму, — рассказывал он при знакомстве, — я почти никогда и не видел. Она была очень занята на работе, и поэтому рожала меня домработница.

Усталло Лев Борисович тут же пугался и жалобно смотрел на дочку свою Любочку.

— Он шутит, — успокаивала Любочка, но утешения это не приносило.

Он не укладывался никак в немудреные усталловские рамки, этот блондинчик, и топорщился там неуминаемо.

Звали его почему-то — Август.

— Наш ренессанс, — говорил Август за чаем, — это муха, которую впустили между двумя стеклами. Раньше она билась о внутреннее стекло, теперь бьется о наружное.

Вот и пойми тут...

Август закончил финансовый институт и в конце года подводил баланс собственной жизни. По всем показателям.

Работал он почему-то в кочегарке.

— В будущем году, — пугал он Любочку, — берем садовый участок. Задача номер один: побольше навоза на квадратный метр.

— Никакого навоза! — отбивалась Любочка. — В будущем году мы будем в Иерусалиме.

— Что?! — вопил долговязый Август. — Ты хочешь сделать из меня пушечное мясо?

— Какое из тебя мясо? — отвечала на это Любочка. — Так, рагу на косточке.

И притиралась к нему под бочок.

— Что они от нас хотят? — говорил Август после очередного допроса. — Мы разве виноваты, что появились на свет? Мы антитела. Мы во спасение. Организм сам нас вырабатывает, чтобы излечиться от инфекции. Так какие же к нам претензии?

Но у властей был свой резон.

— Август! — умолял Усталло Лев Борисович. — Ну поверь мне! Я знаю эти "органы" как облупленные. Через мои руки прошли все их ЧК, ГПУ, НКВД и КГБ — в натуральном виде. Они тебя не поймут, Август. Это для них сложно. А когда они чего-то не понимают, им это не нравится.

— Лев Борисович, — говорил на это Август. — До-

рогой! Я с детства был талантливый ребенок. На папу и на маму не похож...

Перед отъездом Усталло Л. Б. сказал зятю:

— Август, — сказал он, — я знаю, что ты болтун. Но стань один раз серьезным, Август, я тебя очень прошу. Когда будешь писать оттуда, хвали побольше, ври, если надо, — это не помешает, но для меня, только для меня, Август, припиши сбоку: "Лейбеле, это серьезно". И я буду знать тогда, где правда, а где твои глупости.

И пришло письмо из Иерусалима — к радости стариков:

"Мы живем в центре абсорбции (Лейбеле, это серьезно). У нас на троих две комнаты (Лейбеле, это серьезно). Мы учим язык и получаем стипендию, которой хватает на одну только еду, и потому я сторожу по ночам (извини, Лейбеле, но и это серьезно). Когда я пришел получать наш багаж, чиновник спросил: "А где твое пианино?" "Нету пианино", — сказал я. "Как это нету? — удивился он. — Все русские привозят пианино" (а вот это, Лейбеле, совсем уж серьезно: мы не привезли с собой пианино, а могли бы его тут продать)".

И Усталло Лев Борисович тут же купил по случаю подержанное пианино "Заря" и стал ждать разрешение на выезд.

— Поклонитесь там, — попросил как-то Лазуня Розенгласс. — Земле поклонитесь, солнцу и небу. Скажите им: есть, мол, на свете Бобчинский-Добчинский, от которого низкий поклон.

— Кто это Бобчинский? — спросил Усталло Л. Б.

— Есть такой.

Лев Борисович не все понял из сказанного, но переспрашивать не стал.

Этому он научился в "органах".

— Поехали с нами, — искушал он Лазуню. — Чего вам терять?

— А Маню, — говорил тот. — Куда я ее дену?

— И Маню с собой.

— Так я тебе и поехала, — бурчала Маня с лежанки. — У меня тут — гора печали, не сдвинуть. Детки мои тут — по всей земле рассованы...

Потом Лазуня умер, а Льву Борисовичу подарили кота. Большого и лохматого. Не иначе, с дворовой помойки.

Это был редкий кот. Замечательный кот. Кот-знамение. Он переходил из семьи в семью безостановочно. Уже не помнили, кто был его первым хозяином. Уже не знали, когда это началось. Знали только одно: та семья, куда попадал этот кот, тут же получала разрешение на выезд.

Кота передавали дальше. За котом стояла очередь. Из-за кота ссорились. Лев Борисович получил этого кота по благу, после того, как скроил одной даме элегантное пальто, в котором не стыдно прощвырнуться и по Парижу.

Кот сбежал из семьи Усталло тут же, после подачи документов на выезд.

Назад, на помойку.

— Это плохой признак, — сказали знающие люди.

И Усталло Лев Борисович получил отказ.

— Ваш выезд, — сказал ему инспектор с паузой, — противоречит.

И зевнул от омерзения.

— Чему? — спросил Усталло Л.Б.

Инспектор удивился вопросу и немного подумал.

— Всему, — сказал он, и тут же закололо в боку.

”Дедушка, — писал ему Димочка. — У нас живет белка. Мы ее купили. Ее зовут Белла Соломоновна, как и нашу бабушку, но она у нас — мальчик. Я ее кормлю орехами, семечками и сухариками. Она уже два раза прокусила папе палец, и он грозит сделать из нее воротник. А вчера она вылезла из клетки и спряталась на полке, в моих штанах. Мы ее искали, не могли найти, и вдруг — штаны летят через всю

комнату, с полки на кровать. Приезжай, дедушка, будем ее кормить”.

Лев Борисович прослезился от умиления и пошел специально в парк, где прыгали по дорожкам здешние белки.

Бывало, они ходили туда вместе с Димочкой, рука за руку, и разговаривали на ходу.

Димочка знал тогда уже много слов, не всегда вставлял нужные, но Лев Борисович понимал и так.

Белки были совсем ручные. Они садились у их ног, прогрызали аккуратную дырочку в скорлупе и выедали ядро.

Орех белке, орех — Димочке.

На дальней аллее Лев Борисович увидел деловитых мужичков.

Один приманивал орешком доверчивую белку, а другой бил ее железным прутом по спине и переламывал хребет.

Парализованное тельце они кидали в рюкзак и подманивали следующую.

Меха нынче в цене.

И у него снова закололо в боку...

Из Иерусалима писали не часто, и Лев Борисович посылал им по почте гречневую крупу, детские нитяные колготки и папиросы "Беломор" — для зятя.

— Напиши ему! — кричал Август, давясь вечной кашей. — Пусть лучше в Африку пошлет! Голодающим бушменам.

— Сиротка! — кричал он, когда Димочка натягивал блеклые колготки с пузырями на коленках. — За что же тебя так?!

— Караул! — кричал он, закуривая подарочные. — Отдайте их нашим врагам!

— Пусть посылают, — говорила на это Любочка. — Им это нужно — о ком-то заботиться.

Долговязого Августа взяли в армию, и он бегал по горам со своей винтовкой, а рядом бегал его ко-

мандир, которому было девятнадцать лет, и подгонял его на непонятном языке.

И это было обидно.

В редкие минуты перекуров Август говорил командиру все, что думал о нем, но тот, естественно, не понимал русский язык, хоть и догадывался о многом.

Шутить уже не хотелось, а хотелось спать.

Однажды Август угостил командира "Беломором", и тот стал его остерегаться.

Еще он стоял в оцеплении в арабском городе Рамалла.

Еще — охранял какие-то склады и мыл на кухне посуду.

Тарелок было много — не перемоешь, но голова зато оставалась свободной, и хорошо думалось возле раковины.

Он возвышался на кухне головой над всеми, а внизу крутился его напарник, шустрый жучок-солдатик, что неприметно подбрасывал Августу свою порцию грязной посуды.

Был он верткий, тонконогий, прожорливый и смышленный, а работать не хотел — категорически.

Вечно — кофе попить. Кусочек ухватить. Поспать в холодке.

Грузовик разгружать — его нету.

Еду накладывать — он тут.

Стоит — распоряжается.

Был он психованный какой-то, этот солдатик, сразу срывался на крик, если его задевали, и ему даже не выдавали оружие.

Пришел старшина базы в красном берете десантника, углядел непорядок, пропесочил солдатика со вкусом.

— Ты что?! — закричал тот в понарошечной истерике. — На своих?! На черных?!

— Это ты черный, — свысока ответил ему старшина, темнолицый и кучерявый. — А я белый.

Был он роста немалого, широк и устойчив, и обитал в тех же верхах, что и долговязый Август.

— Что такое? — говорил Август Любочке. — Почему это я должен вас защищать и мыть вашу посуду? Это ваша историческая родина, а не моя.

— Молчи, — отвечала Любочка. — Тебя взяли в выездную семью, и скажи за это спасибо.

В обычное время Август работал в банке, по старой своей специальности, и с грустью вспоминал кофегарку, допросы в "органах", бодрящий озноб вечной неизвестности.

"Лев Борисыч, — писал он в Москву. — Дорогой! наших тут очень много, но своих — недостаточно. Лично мы с Любочкой решили родить еще десять детей и приступили к осуществлению проекта. Вот тогда уж я смогу не работать, а жить на пособие для многодетных".

Усталло Лев Борисович очень возбудился на такое известие и побежал на прием к инспектору.

— Нежелательно, — сказал тот. — Несвоевременно. Нецелесообразно.

— Придумайте что-нибудь поновее! — закричал Лев Борисович, пугаясь собственной храбрости.

— А зачем? — удивился инспектор.

И у него снова закололо в боку, и кололо уже до самой смерти...

Его схоронили быстро, почти мгновенно, по строго отмеренному графику перегруженного крематория.

Поиграли на органе, прикрыли крышкой, торжественно опустили в преисподнюю.

Только и запомнилось напоследок — растерянно-удивленное выражение на лице, да непривычные, без очков, опавшие внутрь веки.

Теперь он уже не косил, наверно, а глядел прямо в глаза: одному тому, на кого и следовало глядеть...

В Иерусалиме, в тот же вечер, его дочка Любочка заказала разговор с Москвой, с мамой, и проплакала у телефона все считанные минутки.

Рядом стоял строгий мальчик.

Замечательный ребенок.

Глядел. Слушал. Запоминал. Хмурил брови.

— Их надо судить, — сказал Август, белея от гнева. — За одно только за это их надо судить... Пусть наслаждаются своей властью. Пусть безобразничают по материкам. Но чтобы дочка не могла поехать на похороны отца?.. За одно за это их надо судить!

Через неделю бабушка Усталло Белла Соломонова пошла в то самое учреждение и попросила разрешение на выезд.

Теперь уже без мужа своего, который чересчур много знал.

Но ей тоже отказали...

7

Вот он сбежал ото всех — в леса, за болота, на богатую природу, чтобы утихнуть душой и расслабиться: раз и навсегда.

Завел дом с садом, завел кур с гусями, — а вокруг тишина такая, такое вокруг благословение Божие, хоть садись на приступочку, обмякай сердцем, облегчайся легкими слезами...

Гуси забрались в сени и сглotalи в один присест два килограмма мелких гвоздей. Сглotalи — и подошли в мучениях.

Тогда он завел поросенка, скормил ему мешок картошки — не толстеет. Скормил другой — еще хуже. Поросенок был тощий, костлявый, на длинных ногах, оброс, как собака, густой щетиной, в холода отморозил задние ноги и ходил потому на двух передних.

Пришлось прирезать с убытком.

Купил другого поросенка, пошил ему ватный жилет на молнии, а тот застрял теплым жилетом в колючей проволоке и ночью замерз.

Но он не сдался и купил по знакомству заморско-

го петуха. Для породы. Куры его невзлюбили, ночами устраивали "темную", а днем бегали к плебею Петьке, и цыплята вырастали мелкие, драчливые и невыгодные.

Тогда он подсобрал денег и купил корову.

На рынке она доилась — дома перестала.

Корова есть — молока нет.

— Ничего, — сказал сосед слева. — Нашлись деньги на корову, найдутся и на молоко.

— Охо-хо, — сказал сосед справа. — Абарбарчукам тоже несладко.

И ему снова захотелось бежать: куда-то и от кого-то...

Была ночь.

Он проснулся на кровати.

Лицом к сетке, носом — в одну из ее ячеек.

Было ему душно. Было погано. Тяжко и неукладисто на ржавых переплетениях.

Кто-то трогал его за плечо, не грубо еще, но уже настойчиво, и свет от фонарика зайчиком скакал по стенам.

— Вставай, — приказали.

— А зачем?

— Вставай, а то хуже будет.

Он перевернулся на спину и ладонью прикрыл глаза.

— Ишь ты, — сказали сверху. — Ну и носяра!

Это была милиция. Скорее всего, двое.

— Ты кто?

— Абарбарчук.

Подумали:

— Это чего? Фамилия или должность?

— Фамилия.

— А по паспорту?

— И по паспорту.

— Пошли в отделение.

Встал с кровати, возвысился над ними, и они даже попятнулись в изумлении.

Их, и правда, было двое.

— Не баловать, — пригрозил один. — Если не хочешь.

— Не хочу, — сказал Абарбарчук.

Спала на лежанке вечная вдова Маня.

Сидел за столом Лазуня Розенгласс, альбом был раскрыт на самой на последней на странице.

Там было написано, посередке:

Кто любить более тебя,
Пусть пишет далее меня.

А в самом низу, по краю листа, другим почерком:

Я пишу далее,
А люблю более...

Лазуня записывал:

”Мы не подлецы. Мы не предатели. За каждым из нас не найдется и одной крупной подлости. Обвините нас в этом, и мы справедливо обидимся. Осудите нас — и мы оправдаемся. Наша крупная подлость, наше предательство рассредоточены во времени, разбиты на тысячи мелких и микроскопических. И в этом — наше спасение. И в этом — нет нам оправдания..”

— Иди уже, — приказал милиционер и подтолкнул с опаской в коридор.

Волоокая безобразница Груня провожала на смерть пуленепробиваемого Потряскина.

Две старушки без зубов спрашивали на прощание:

— Товарищ Потряскин! Чем все-таки отличается обычный коммунизм от военного?

— Катились бы вы, мамаша, — отвечал он с тоскою, натягивая галифе, и они тут же его простили.

Соня и Броня с радостью прощали всех на свете, но им не прощал никто.

Прошел коридором Соломон Розенгласс, молодой и дерзновенный, ладонью отбросил со лба легкую прядь.

— Члены общества, — бормотал, — разделяются на повелевающих и повинующихся... Сие существует и существовать должно...

— Побежишь, — пообещал милиционер, — буду стрелять.

И они вышли на лестницу.

По лестнице — неровной вереницей — спускались жильцы со своими пожитками.

Одни уходили в эвакуацию.

Другие в эмиграцию.

Третьих выселяли из-за ремонта.

Бьющееся переложили мягким.

Сыпучее увязали в наволочки.

Текущее поставили стоймя.

Кровати — боком. Шкафы — волоком. Матрацы — рулонами. Кошек — под мышку. Собак — на поводке. Птиц — в клетках. Рыб — в банках. Детей — за руку.

Сволокли по лестнице.

Покидали в емкие кузова.

Поломали при упаковке.

Побили при перевозке.

Доломали при разгрузке.

Три переезда — как один пожар...

— Ты куда? — перепугался милиционер.

— Вещи у меня наверху.

— А не врешь?..

Наверху он переоделся, упрятал лишнее в сумку, встал напоследок.

В свете фонарика можно было уже разглядеть дверь на чердак, такую массивную, такую надежную, — отлично можно отсидеться от любой напасти.

— Как же вы меня нашли? — спросил Абарбарчук с удивлением. — Я ведь и света не зажигал, и огня не разводил.

— Заложили тебя, парень, — сказал милиционер.
— Сигнал по телефону. А кто заложил — нам неизвестно.

— Я и заложил, — сказал заеда у самого плеча. —
Кому же еще?

И клацнул сточенными корешками.

— Старый человек, — повздыхала Усталло Белла
Соломоновна, — а гадите где попало.

И пошагала опухшими своими ногами вслед за
гробом...

Уходили Макароны.

Уходили Сорокеры.

Рыбкины уходили и Талалаи.

Куда-то и от кого-то...

— Отдайте мне этот дом, — попросил. — Я в нем
музей сделаю. Тем, кто уехал.

— А ты кто таков?

— Оставшийся представитель выехавшей народно-
сти.

— Пошли, — приказал милиционер.

Вздыхнул:

— Ну пошли...

И шаг сделал через силу.

И дверь внизу притворил за собой...

Остались в подъезде двое. Степенные и непроби-
ваемые.

Они уже выкушали положенную на сегодня бутылочку,
припрятали до случая календарь и спорили теперь не спеша,
культурненько, что же означает собой слово — тщетно.

Один уверял, что тщетно — это быстро.

А другой божился, что тщетно — это резко.

И некому было их рассудить...

8

По ночам кто-то вздыхает в туалете...

ЧАСТЬ III

ЧЕРДАК ЖЕЛАНИЙ



В этом доме было полно этажей.

А кнопок в лифте — на одну больше.

На лишнюю, самую верхнюю кнопку никто обычно не нажимал.

Взрослые вечно спешили по своим неотложным глупостям и мало любопытствовали по дороге, а дети до нее не дотягивались.

Когда же дети подрастали и могли дотянуться, это были уже не дети, и они тоже начинали спешить. За теми же глупостями.

Оставались одни только старики.

Эти уже никуда не торопились, но могли еще дотянуться напоследок...

— Вся наша жизнь, — говорил старик Фишер, пока мы шли к лифту, — это чердак изношенных желаний. На чердаке вечно валяется старое барахло. И наши желания — то же самое барахло, что отслужило свой срок. Но если бы вы знали, как жалко его выбрасывать!

И он нажал на верхнюю кнопку.

И мы приехали прямо на чердак...

Старик Фишер был мудр, тощ, голенаст, подростокват на вид и похож на старого, отжившего свое кузнечика, хотя и не умел прыгать и стрекотать в траве.

Зато он умел давать советы — бесплатно и каждому — в прежней, оставшейся за бугром жизни.

Он не был настоящим ребе, кузнечик Фишер, но почти что ребе, — и там это считалось.

Он сидел по вечерам в кресле, уложив руки на подлокотники, а к нему приходили советоваться нерешительные евреи.

Кресло было массивное, тяжелое, с прямой спинкой, и, усевшись в него, тут же хотелось вынести кому-то суровый приговор без права на обжалование.

Но в него не садился никто, кроме самого Фишера.

Воротившись с работы домой, он наскоро ужинал на кухне, взбирался в свое судейское кресло и ждал посетителей, — а они приходили непременно.

Его ноги чуточку не доставали до пола, но это никому не мешало.

Евреи привыкли советоваться.

— Ребе, как вы думаете..?

— Обязательно.

— Ребе, не считаете ли вы..?

— Ни в коем случае.

— Ребе, а можно вот так..?

— Так — можно.

Кресло не пропустила таможня.

Категорически.

— Оно старое, — сказали. — Антикварную мебель не выпускаем.

— Да чего в нем старого? — удивился тогда Фишер. — Обивка новая. Ножки новые. Спинка новая.

Таможенник подумал:

— Форма, — сказал он. — Форма старая.

И не пропустил...

— Там! — говорил Фишер, вздыхая. — Там я был ребе. Да, да, ребе. А тут? Что я могу посоветовать тут? Курс акций? Проценты-кредиты? Куда вложить — кому продать? Я же ничего тут не знаю. Какой я тут ребе?..

На чердаке выгорожена была клетушка.

Клетушка-комнатушка.

Стояло там кресло-эрзац: тоже тяжелое, тоже массивное, тоже с прямой спинкой, и, усевшись в него, тоже хотелось выносить суровые приговоры, но теперь уже с правом на обжалование.

Кузнечик Фишер уселся в кресло-эрзац и руки уложил на подлокотники.

— Заходите, — сказал. — Кто там на очереди? Такое у меня желание.

И посетитель пошел косяком.

— Ребе, что делать с..?

— Простить.

— Ребе, как быть с..?

— Пренебречь.

— Ребе, а насчет этого как..?

— Насчет этого — никак!

А сам — блаженствовал...

Чердак был огромный, раскидистый, пыльный и душноватый и уводил в пугающую глубину через времена и границы.

В его затемнениях, по углам-щелям-пазухам, хоронились от глаз попользованные некогда желания, которые стоило бы и подлатать, подбить гвоздиком, прикрутить бечевочкой и снова пустить в дело.

Балки под ногами.

Стропила над головой.

Запахи перегретой пыли.

Я заблудился уже окончательно в своих невозможных желаниях и незаметно пересек государственную границу.

Столб стоял пограничный.

Старик в тулупе.

Старая берданка подпирала сзади, чтобы не завалился от хилости.

Он плакал от обиды, этот старик, и слезы стекали в валенки прерывистой струйкой.

— Ходят, — говорил. — Пересекают-нарушают. Им уже и граница не граница.

— В желаниях, — ответил я. — В желаниях все можно.

— Можно-то можно, — сказал он и подхихикнул посреди плача. — Есть и у меня законное желание — пристрелить парочку.

— А вы с какой стороны? — спрашиваю. — Наш или ихний?

— А какая тебе разница? — сказал. — Пристрелю — а там разбирайтесь.

И я пошел дальше...

Абарбарчук тоже ходил по чердаку.

Тоже, и он тоже!

В тех он ходил краях, куда заводит меня порой неутоленное мое желание, — и я вижу его тогда, дюжего, ражего, нос наперевес, с коробом на спине и складным столиком под мышкой.

— Купите, — говорит он и глядит на меня мудро и улыбочиво. — Совсем не за дорого.

Как же он изменился за эти годы, Шатун-Абарбарчук, как его жизнь потоптала! — быть может, это уже не он?

— Вы кто? — спрашиваю я. — Кто вы теперь? Военрук? Парикмахер? Производитель нестандартных лифчиков?

— Продавец эмоций, — отвечает он и раскладывает свой товар. — Эмоций выехавшей народности. Такое мое теперешнее желание.

— А какая с этого корысть?

— Комиссионные, — говорит он. — Вам весело, и мне процент веселья. Вам грустно, и мне процент грусти. Купите. Свежие. Нележалые. Эмоции, каких поискать.

— Мне некогда, — говорю. — Я на обратном пути. У вас еще останется?

— Останется, — отвечает он. — От такой народности, да чтобы не осталось?..

Я ухожу.

Я оглядываюсь.

Я переминаюсь в сомнении.

— Вы — кто?.. Вы — Абарбарчук?

— Этого я вам не открою, — говорит он. — Чтобы налогами не обложили.

— Кому тут обкладывать?

А он — мудро и улыбочиво:

— Есть тут такие. С такими желаниями.

И я пошел.

И я пришел в конец чердака, в самый его тупик, где окно — на всю стену, и город за окном — такой близкий и такой невозможно далекий!

Лбом в пыльное стекло: глядеть — не переглядеть...

2

...вот еду я по России, по битому ее асфальту, по неширокой лесной полосе, без просветов и прогалов по сторонам, — дикие, разбойные места, засеки с засадами, пересвист с уханьем, — будто забираюсь в глушь времен, в неведомое, в непочатые еще края, и город Борисоглебск всплывает нежданно в окантовке лесов, в конце дороги-просеки, тянется кверху куполами церквей, чтобы разглядеть пришлого гостя, и я въезжаю в очарованное малолюдство, в сказку далеких веков, и запустение вокруг монастыря, и площадь булыжная в лужах, мелкие каменные строения дедовской давности, торговые ряды с неуместными вывесками: "Промтовары", "Продтовары", "Хозтовары", и выгоревший на солнце линялый кумачовый призыв, и комната-магазин "Книги", где я купил Тютчева ("Было два всего, — тихо сказала грустная и некрасивая девочка-продавщица. — Один купила учительница, другой — вам"), и громада монастыря с крепостными стенами, теплыми и шершавыми на ощупь, которые хочется обтрогать руками, надвратная церковь в оспинах-язвах — насупившимся, обиженным, обманутым сторожем-тяжеловесом, которого обошли с тыла, а внутри, в монас-

тырских постройках, во всякой келье — контора, во всякой часовне — учреждение, и стук машинок, и перезвон телефонов, и треск тезки — допотопного арифмометра "Феликс", и бег суетливых служащих, и закуточек музея с прелестной коллекцией старинных лубков — "Чепуха для смеху народу на потеху", "Славный подпивала, веселый подьедала", "Роспись приданого молодцу удалому", — и не хочется уезжать назад, по битой дороге, но так и тянет остаться, оглянуться, зацепиться: город Борисоглебск опускается за горизонт куполами церквей, город оседает в памяти навечно, запрятанный в лесах сказочный город моего прошлого...

Почему еврей так пристально вглядывается в Россию?

Вот я ночую в грязной, продувной гостинице Ростова Великого, где застиранное белье, затертые истончившиеся одеяла, буйные голоса шоферов за фанерной стенкой, вонючий до невозможного туалет, где всю ночь безмятежно храпел на столе, впри-тык к писсуарам, здоровенный мужик в тулупе, которому не досталось койки, — а рядом, совсем близко, Ростов для иностранцев, Ростов на валюту: ухоженный, отреставрированный кремль, главы нарядных церквей опрокинулись в озеро, и кельи-комнаты, кельи-салоны, крестовая палата под столовую, холлы для телевизоров с редкими фресками на стене, прудик на лужайке с мелкой живностью, горластые иностранцы толпами, щеголеватые сотрудники с цепкими глазами — дьяволы в показушном раю, — а рядом, через стену, на внешнем, перемолотом колесами дворе, куда не водят туристов, храм красоты невозможной, жемчужина кремля с битыми окнами, с облезлыми боками, с потемневшими от старости строительными лесами, на которые страшно ступить, с пометом голубиным — белыми лишаями — на иконостасе дивной, резной работы, — и обидно ходить там, в отстроенном не для тебя великолепии, и груст-

но лежать тут, под стенами чудо-храма, в бурьянных зарослях, проклиная и благословляя, ненавидя и любя...

Вот я приехал в город Мир, к Святополку Мирскому, в самую глубинку истории российской, где засрано все старательно, не пропущено ни уголка, выбиты стекла, поломаны печи, кострища на полу, и крыши провалены, и перекрытия порушены, и подвалы вскрыты, как консервные банки, и буйная трава внутри помещений, кустарники, гигантские лопухи-мутанты, будто после ядерного взрыва, смертельной радиации, и нет вокруг ничего живого, нет вокруг никого, одни змеи да совы с ящерицами, – а рядом, на пригорке, церковь невидная, куполок над деревьями, мозаичный перелив над входом да ворота с крестом, которые никуда уже не ведут, а к кресту примотана проволокой антенна: связь уже не с Богом, а с радиовещанием и телевидением, – Боженька мой, мой добрый и терпеливый Боже, доколе?!

Вот я стою, задрал голову, перед гигантским храмом в Коломне, и скрипучая телега с картошкой въезжает вниз, в его подвалы, по деревянному настилу, где овощной склад, и доски на полу, и мешки рядами, рассыпанная морковь в углу, и сладко тянет холодной гнильцой ("Умели строить, – говорит возница. – В этой церкви картошка не прорастает"), – а вокруг храма, гиганта-храма, ободранные домишки, обвалившаяся штукатурка, заваленные на сторону ворота, раззор и нищее запустение, и ощущение такое, будто опустился с небес инопланетный корабль-храм, продукт неземной цивилизации, будто вышли из него пришельцы и разбрелись по округе по любопытным своим делам, а аборигены тут же воспользовались моментом, аборигены вышибли стекла, ободрали крышу, своротили крест, изъязвили ранами каменную кладку, приспособили под картошку непонятное им сооружение, не для небесных – для земных нужд, ибо на большее не хватило пе-

щерного их разумения, и возвращаться уже некому, и возвращаться уже некуда: стоят по России соборы — следы удивительных и таинственных пришельцев...

Вот я плыву на пароходе по Волге, по Каме, по Белой, в музыкальной каюте, каюте пыток, где дверь поскрипывает, ручка попискивает, полка покряхтывает, стекло постукивает, жалюзи побрякивают, раковина похрюкивает, и так круглые сутки, ночь и день, без сна и отдыха, хоть ты и запихиваешь бумажку в дверь, нож за полку, вилку под жалюзи, голову под подушку. Будто гонят тебя нарочно из каюты на палубу, чтобы встал, увидел, задумался... И вот ты уже застыл у борта, на стареньком колесном пароходе, посреди неширокой реки, и земля панорамой проходит перед глазами, замедленно и торжественно, для полного ее обозрения, а на берегу стоят туземцы, группами и поодиночке, что высматривают на горизонте желанный корабль с бусами-счастьем. Хозяева — не гости. Старожилы — не туристы. Действующие лица — не зрители. Кричит в тумане пароходная сирена, кричит всю ночь, без отдыха, в ужасе перед неизбежным столкновением. Каюта пыток. Палуба пыток. Земля пыток — не продохнешь...

Вот я сижу в лодке посреди ленивых полноводных струй, и юноша на веслах спокойный, как река, светлолицый, голубоглазый, золотоволосый, почти обнаженный: шея линии греческой, мягкие переливы мышц, мощный бугор под фиговой тряпочкой. "Ты тут родился?" — "Ну?" Тишина. Конец лета. День подарочный. Солнце нежными касаниями. Беспричинная тоска по невозможному. "Ты тут учился?" — "Ну?" Течение тихое. Капли с весла. Раки под берегом. Грибы на косогоре. Ветви над водой. "Ты тут работаешь?" — "Ну?" Пушкинская беседка в парке — дом Щепочкина над обрывом — Полотняный Завод — река Суходрев — Наталья Николаевна с локоном у щеки. "Тебе тут хорошо?" — "Ну?.." И снова шоссе, спешка и толкотня, шум и гарь — слева гру-

зовик, справа автобус, а он, этот юноша, все еще плывет в тишине по течению, посреди луговых трав, обнаженный — в солнечных касаниях, и расстояние между нами — тишиной с травами и вонью со смрадом — считанные минуты на машине. Но не одолеть за годы, за века не одолеть. Гость — не хозяин...

Почему еврей так пристально вглядывается в Россию? Почему так упорно колесит по дорогам, забираясь в глухомани, оглядывая деревни с монастырями, церкви с погостами, чердаки и колодцы, амбары, кузницы, телеги с санями, фигурные наличники, прялки, иконы, лампы, лукошки, сита, коровьи бубенцы, медные складни, пестики, мутовки, маслобойки, чугуны с ухватами, пудовые замки, шкворни с подковами, — почему?.. Пришелец ищет следы пришельцев? Чужой тоскует по своим? Лишенные своего, мы не равнодушны к чужому, мы, самозванцы, гости — не хозяева.

Это наше без права быть твоим.

Это ничье, к которому прикипело мое сердце...

...и ночью, на далеком пустынном шоссе, на въезде в старинный, неведомый город, наплывает на тебя в свете фар призрачная белая лошадь, белая стреноженная лошадь, огромная и таинственная — поперек шоссе, и глаз изумрудно-косящий, переливчатый, драгоценный карбункул...

...и во мраке, в дождливой кромешной темени, под визг тормозов и всплеск сердца, возникает неведомо откуда пьяный мужик в угарном беспмятстве, велосипедом уткнувшийся в твой бампер, и тускло блеснувший глаз, громадным стеклянным бельмом, и капли дождя, стекающие по выпуклому, облупленному белку...

...и днем, в постели, в зашторенной зыбкости, на подушечной белизне — круги под глазами запавшие, веки дрожащие, дыхание слабое, сон теплый, легкий, торопливый — не насытишься, часы отбивают прощальный менуэт, — и снова машина, дорога, рев гру-

зовика, рука на колене: "Здравствуй, милый!" – взгляд долгого, невозможного прощания...

Едешь на машине часами, сутками, и асфальт наматывается на тебя, пространство наматывается на тебя, и окрестные поля, леса с реками, сад яблоневый, где лошади пасутся посреди деревьев, копытами давят паданцы. Музыка в машине, скорость тихая, свет сумеречный, прощальный: боязно оглянуться назад, может, нет позади ничего, ни асфальта уже, ни окрестностей, – все намотал на себя, в себя, все увозишь с собой. Может, для того и уезжаешь, чтобы не покинуть, отворачиваешься, чтобы видеть, убегаешь, чтобы не разлюбить. Оглянулся быстро, по-воровски: асфальт за спиной, леса за спиной, реки, лошади, сады яблоневые, – нет, не намотать, не увезти с собой, не протащить незаконно через таможенную память.

Но где же тогда я хозяин?

Где тогда я?..

3

Вокзал в Иерусалиме – тупик в Иерусалиме.

Поезд дальше не пойдет.

Незачем.

Подкатывают голубые вагончики, сходят на перрон пассажиры, дети с солдатами.

У солдат – оружие.

У детей – нету.

Солдаты – тоже еще дети...

– Папа, – сказали они. – Ты, папа, поедешь первым.

- Чего это вдруг? – удивился папа.

А того это вдруг. Чтобы было нам с кем воссоединиться.

Он уехал.

Они остались.

И решают по сей день: ехать или не ехать.

А он посылает им растворимый кофе...

Сходят пассажиры, и уходят пассажиры, и остается на перронной скамейке замороженный старик Бердичевский, один-одинешенек на целой платформе, и ждет терпеливо очередной поезд.

Очередной будет не скоро.

Так он сидел когда-то на дачном полустанке, а мимо просвистывали пассажирские, прогромыхивали товарные, подлетали запыхавшиеся электрички, из которых могли выйти его дети с его внуками, -- но они приезжали только по воскресеньям, и то не всегда.

А он приходил на станцию каждый Божий день, с утра пораньше, через лесок, через овражек, полем до дачного поселка, тихой дремливой улочкой, мимо керосиновой лавки на отшибе, по насыпи вдоль путей -- и к платформе.

Было важно.

Было интересно.

Было тревожно всякий раз, как подлетала электричка и, зашипев, открывались двери.

Было потом грустно.

И вдруг они приехали все вместе, в неурочный почему-то день, оживленные и возбужденные, как заговорщики, весело шли по насыпи, по поселку, овражком и через лесок, и сказали ему после обеда, разомлевшему от сытости и непривычного внимания:

-- Ты, папа, поедешь первым...

Он вышел с вокзала на улицу и дошагал тротуаром до перекрестка.

Светофор почему-то не работал, полицейского не было, и на перекрестке варилась каша.

Автомобили поперек грузовиков. Грузовики поперек автобусов. Автобусы поперек всего. Никто никого не пропускал перед собой, и каждый мешал каждому.

Крики. Гудки. Жестикуляция. Игра в истерику.

Он стоял час, не меньше, любопытный старик Бердичевский.

Сначала было интересно. Потом заболела голова. Потом пришла девочка-полицейский, и все сразу утихло.

Напротив, на заправочной станции, стоял мерседес у одной колонки, ослик с канистрами — у другой.

Сухой, усатый таксист-пират с отчаянными хулиганскими глазами заливал мерседес по горлышко.

Юркий мальчишка-араб управлял ослика.

Восток, — но все-таки Ближний.

Ближний, — и тем не менее Восток...

Возле главной городской синагоги к нему подошел человек с короткими ручками, которого он всегда опасался.

Таинственный и пугающий.

— Бердичевский, — сказал он углом рта, не глядя на собеседника. — Нам нужны люди на местах. Честные и проверенные. Вы нам нужны, Бердичевский. Мы вас назначим ответственным за пенсионеров.

— Не надо, — сказал Бердичевский.

— Надо, — сказал тот.

Был он не дряхлый еще, деловитый и озабоченный, боком подходил на улице, глядел в сторону, говорил быстро: "Готовьтесь. У меня есть план", — и отходил сразу.

— Бердичевский, — сказал он. — Завтра. В восемь тридцать. Выйдете на трибуну и начнете собрание.

— Я не умею, — сказал Бердичевский.

— Чего там уметь? Держите бумагу: тут все написано. Выйдете — прочитаете. "Господа! Для ведения собрания нам необходимо избрать председателя. Какие будут предложения? Господин Зельцер, пожалуйста".

— А если он не попросит слова?

— Попросит, попросит, — сказал тот. — Он все знает.

— А если попросит, но не в том месте?

— Как это не в том? У него такая же бумага, будет следить. ”Зельцер: Я предлагаю избрать председателем собрания господина Рацера...”

— А если он предложит не Рацера?

— А кого же еще? — тот начинал уже сердиться. — В бумаге написано: ”Рацера”. Теперь вы, Бердичевский: ”Кто за Рацера? Кто против?”

— Я против, — сказал Бердичевский.

— Погодите, я не дочитал. ”Кто против? Против — нет. Единогласно. Попрошу господина Рацера занять место председателя”. Вот и все. Дальше я веду сам.

— А я? — спросил Бердичевский.

— Вы идете в зал.

— Я против.

— Вы остаетесь в президиуме...

Бердичевский пошел следом за ним, таясь, в отдалении, как профессиональный сыщик за преступником. Важно было, чтобы тот его не заметил, и Бердичевский старался вовсю.

В магазине, на прилавке, разложены на продажу красавцы-пистолеты, и он уже выбрал себе один, с барабаном и тупоголовыми пулями, — но денег на это не было, и разрешение не получить по старости, да и к чему ему этот пистолет?..

Следить можно и так.

День впереди был большой, не заполненный делами, и надо было растянуть любопытство до вечера.

К вечеру он возвращался непременно домой, садился у окна и наблюдал закат в Иерусалиме.

К вечеру дома стоят за окном — строгие, затихшие, светящиеся изнутри розовым, как невеста перед сватами, застыдившаяся своей красоты.

Солнце — огромное! — укатывается за гору, прямо на глазах, и красно полыхает потом горизонт, багрово, слабым под конец румянцем с синевой сверху, пока не просветятся четко, на миг, деревья на верхушках гор, — и подступает вечер.

И зажигаются огни по склонам — подрагивающей россыпью — до утра.

И иногда — рядом они, рукою подать, пододвинулись к твоим глазам, а иногда — далеко, не дотянуться.

Он был голодный на жизнь, старик Бердичевский.

Он пожирал всякий раз этот закат, и этот город, и коричневеющие к вечеру террасы по склонам, и никак не мог наглотаться.

И вечное в душе сожаление: вот он уйдет, а город останется, и розовый отсвет на камне, и горы, и масляные на них деревья, такие старые, такие корявые и плодоносные, как сама эта жизнь, сотворенная где-то тут, поблизости...

— Папа, — сказали дети, — ты поедешь первым...

Было это уже давно, но горечь осталась.

Малая капелька на донышке, которую надо заедать постоянно, разной сладостью жизни.

Пошел. Купил мороженое. Хрустящий рожок, и пара в нем шариков.

Один — ванильный, другой — с орешками.

Сортов было много — не перепробовать, и он всякий раз менял варианты.

Это тоже помогало продлить любопытство, и он старался всюю.

Хрустел вафель. Облизывал шарики. Головой крутил по сторонам в поисках интересного.

.. Бердичевский, — сказали за спиной. — Дайте лизнуть разок...

Стояла перед ним старая хулиганка Фогель, нарушительница внешних приличий. Голоногая. Патлатая. В шортах. В куцой кофтенке без рукавов. С сигареткой в руке. И ключицы по-цыплячьи — торчком наружу.

- Я вам целое куплю, — предложил галантно.

— Вы брезгуете, Бердичевский?

— Да будет вам...

Стояли. Откусывали по очереди. Оглядывали прохожих.

— Вы слышите чавканье, чмокание, хрумканье? — сказала старая хулиганка. — Это отъедается интеллигенция. У нас нынче период такой. А когда насытимся, думать начнем, дерзать, великие творить дела.

— А если не начнете? — спросил Бердичевский.

— Станем хрумкать дальше.

И смачно хрустнула вафлей.

— Ешьте, — сказал. — Я больше не хочу.

И она доела.

— Мне бы, Бердичевский, тут родиться... Мне бы детей тут нарожать...

— А где они, ваши дети?

— Тут, — сказала.

И засмеялась.

Старая хулиганка Фогель привезла сюда всех. Маму свою, тетю свою, сына своего с внуками, тещу сына, тещину дочку с детьми, родителей мужа тещиной дочки, еще кого-то, чья связь с нею плохо прослеживалась, — и Бердичевский ей завидовал.

— А я бы... — сказал. — Если бы тут родился, я бы женился на здешней. Такие они надежные, такие устойчивые...

— Женитесь на мне, Бердичевский.

На это он не ответил.

Медичка Фогель всякого перевидала на своем веку, спирт пила в морге, возле трупов закусывала и делала теперь вид, будто она опытная.

— Бердичевский, — сказала с вызовом, — вы когда-нибудь подрывали устои?

Подумал:

— Нет, вроде... А вы?

— Я, Бердичевский, подрывала.

— А зачем?

На это она не ответила.

Закурила сигаретку. Затянулась. Дым по-драконьи пустила через нос:

— Бердичевский, — спросила, — на этом свете хоть кто-нибудь наслаждается жизнью?

– Я, – сказал сразу. – Я наслаждаюсь.

– Будто бы...

– Я, – заупрямился. – Разве не видно?

– Грубый вы, Бердичевский. Толстокожий. Неинтеллигентный какой-то.

Обиделся:

– Что же я, тонкостей не ощущаю?

– Ощущаете, – успокоила. – Вы ощущаете. Только не сразу.

Была она резкая. Напряженная. Как перекрученная. И сигаретку кусала безжалостно.

– Расслабьтесь, – приказал. – Распакуйте свои чемоданы. Мы с вами уже приехали. И не ждите. Чего вы ждете? Начинайте уже жить. Это и есть та самая жизнь. Другой не будет.

– Умница, – сказала хулиганка и чмокнула его в щеку. – Я вас люблю, Бердичевский. Пошли Феллини смотреть.

– Когда?

– Да хоть когда...

И пошагала себе.

Сзади посмотришь – девчонка девчонкой.

Спереди посмотришь – лучше не смотреть...

– Чтобы было нам с кем воссоединиться, – сказали дети...

И теперь это надо было заесть.

Стоял. Глядел на угол, где переулок втыкался в улицу. Требовал молча любопытного до крайности.

Проехала в машине Танька Макарон – полный багажник девок, но он ее не заметил.

Шмулик, Танькин мужик, упрямый до крайности, непременно желает сына, а Танька, будто назло, выстреливает ему одних только девок: знай, мол, нашу бабью сибирскую породу.

Проехала в автобусе Фрида Талалай – с кладбища, от папы Талалая, воспоминаниями застланы глаза, – но он ее не углядел.

Летели мимо стайкой, черными птицами на ветру,

часто перебирали ногами, спорили и не замечали никого вокруг, -- и Вова-хасид среди них: но он не отличил в толпе.

Парикмахер Сорокер, инженер Макарон, Любочка Усталло -- схоронились от глаз в этом городе и не казали себя.

Если город принял тебя, то это уже навечно...

Тут вышел на него от угла кузнечик Фишер.

С кошелкой в руке и букетом под мышкой.

-- Тороплюсь, -- сказал на ходу. -- Миша приходит на побывку. Надо побаловать.

Они жили вдвоем.

Он и Миша-внук.

Когда Миша бывал дома, кузнечик Фишер вздыхал по ночам от счастья, слушая его дыхание из другой комнаты.

Им было хорошо вдвоем, но советов Миша не принимал.

Категорически.

Миша хотел все сам.

Он был уже офицер. Две полоски на погонах. Служил в каких-то частях, о которых не принято спрашивать. Фишер им гордился.

И Бердичевский погордился немножко за компанию.

-- Фишер, -- сказал, попадая в шаг. -- На вас ермолка.

Это было любопытно и требовало разъяснений.

Фишер застеснялся.

-- Тянет, -- сознался. -- Это, вы знаете, город такой. Не отвертисься.

-- И не надо, -- сказал Бердичевский и отложил в памяти наметившуюся возможность.

Бога не находят и Бога не теряют.

С Богом рождаются...

Автобус разбежался по ровному месту, взобрался, покряхтывая, на гору, и встали дома с арками -- длинной чередой вдоль обрывистых холмов.

Шел по дороге маленький мальчик, замечательный ребенок, носом прокладывал себе путь, и тащилась за ним на привязи кудлатая собака — уныло и обреченно.

— Это чья у тебя собака? — спросил Бердичевский.

— Это моя у меня собака, — ответил ребенок независимо.

— А раньше она была чья?

— А раньше она была ничья.

И не поглядел в глаза.

Этот ребенок был знаменит на всю округу.

Его боялись собаки и собаководладельцы.

Он приволакивал домой свирепых кобелей -- на цепи. Болонок -- на шпагатиках. Щенков -- за пазухой. Породистых -- с ошейником и шелудивых -- с помоек.

Отец отпускал их ночью, на все четыре стороны, а назавтра к вечеру он деловито тащил за собой очередную собаку, прятал у дома в кустах.

Он был такой настырный, такой неумолимый -- боксеры и овчарки удирали от него, поджав хвосты, а настигнутые, покорно шли на веревке за двумя ножками-спичками, которые перекусить -- одна забава: они мослы бычьей раскусывали, эти собаки.

— Давай я тебе лучше машину подарю, — сказал Бердичевский. — Заводную.

— С ключиком? — оживился ребенок.

Нет. С батареейкой.

С батареейкой не хочу.

Чего так?

— Батарейка кончится, объяснил со вздохом, обстоятельно и по-стариковски, -- а новую когда еще купят? Не допросишься. Все потом да потом... У меня с батареейками, вон, полно машин, и все не ходят.

— А с ключиком у меня нету, -- сказал Бердичевский.

— И у меня, -- ответил ребенок и потащил пса дальше.

К собаке и ключика не надо...

Гулял возле их дома всеобщий ненавистник Гурфинкель, искал, к кому бы придраться.

Гурфинкель живет здесь не один уже год и обиды накопил — через край.

Когда приспичит и подопрет под самое горло, специально едет на рынок, где Додик — южный человек, и магазин у Додика — вина-водки, и раскидистое дерево во дворе — все вокруг усыпано крышечками от бутылок.

Стоят под деревом наши люди, откупоривают Додикин товар, разливают на троих — ко всеобщему обалдению непривычного к тому населения.

Хоть билетами торгуй на невиданное зрелище.

Русские пришли! Русские пришли!

Пришли и откупорили...

Ненавистник Гурфинкель не пьет под деревом.

Это ему не нужно.

Ему бы испортить народу удовольствие: с этого он пьянеет.

Гурфинкель прикладывает ухо к земле, слушает, говорит потом пакостно:

— Скачут. Конники-буденники. Скоро уже. Тут будут...

Но его никто не трогает.

Тронешь — а он рассыплется...

— Бердичевский, — закричал он и пошел навстречу. — Ваши-то опять обкакались! Что же вы, Бердичевский? Избранный народ — а выиграть в футбол не можете!

Бердичевский обошел его по газону и ушел в подъезд.

Капелька горечи на доньшке, малая капелька, — сесть у окна и заесть немедленно: сладостью увиденного заката.

Дымка туманная, мягкая, нежная, горы укутаны шалью невесомой, — и розовое, трепетное, с невозможными оттенками до бледно-светлого, до блед-

но-голубого, до никакого... И одинокое облачко над горами, поперек, тушью, как последний штрих Создателя... А там уж темнее, гуще, багровее по кромке, — и луч от фары автомобильной, на горной дороге, всплеснувшийся победно — через темноту и расстояния...

Ночью, на том самом чердаке, он умирал понарошку в своих желаниях, смешной старик Бердичевский, а дети суетились возле его постели.

Подавали чай.

Щупали лоб.

Кормили лекарствами и подкладывали грелку.

А он лежал довольный, счастливый, в центре их внимания, — в первый раз в центре.

— Чего это вдруг? — спрашивал он со вздохом.

— А того это вдруг, — отвечали ему дети.

И умирать уже не хотелось, а хотелось — жить...

4

Первой уходила тетя Бася.

Белозубая, круглолицая, с пышным, волнующимся бюстом под расшитой украинской блузкой.

Это случалось всякое утро, в пять часов тридцать семь минут, и часы на подоконнике отзванивали свое.

В пять тридцать семь, без задержки.

Тетя Бася была молодая, звонкая, радостная, в порывистом нетерпении: хохотом наполняла дом.

Она очень любила играть в "гляделки", не моргая, глазами в глаза, душу выглядывала до донышка.

Из-за нее стрелялись. Ссорились. Уходили от жен. Ей была посвящена книга стихов: "Той, в чьих туманах заблудилась моя душа".

Два солдата-сифилитика изнасиловали тетю Басю в подъезде, на заплыванном полу, безжалостно и по-всякому, в незабываемом тысяча девятьсот восемнадцатом, и она умерла тут же — от отвращения к жизни.

В пять часов тридцать семь минут утра.

Старая хулиганка Фогель не помнила тетю Басю.

Про Басю много рассказывала ей мама, просила поминать и дальше, когда ее, мамы, уже не будет: Бася того стоила.

— В следующей жизни, — сказала Бася перед смертью, — я буду радугой.

— Почему радугой?

— Радугой — и все. Радуга при любых сволочах — радуга.

И ушла...

В шесть часов семнадцать минут звонил будильник на полке.

В шесть часов семнадцать минут уходил двоюродный брат Зяма.

Этот был ученый. Мудрец-математик. Сообразительный скородум.

Времени было немного, чтобы помянуть Зяму, потому что в шесть двадцать одну подавали свой знак бронзовые часы-безделушка, и старая хулиганка Фогель торопилась вовсю, чтобы успеть к следующему поминанию.

Обернешься назад -- одни пеньки.

Это он сказал однажды, ведущий теоретик Зяма:

— Мы тут, а наша земля там.

А больше ничего не добавил.

По тем временам это было смело. Глупо. Странно и непонятно.

Какая земля? Где? Для кого? Что ты мелешь?..

Он работал на космос, этот Зяма, был перезасекречен и обласкан, и заработал инсульт в молодые годы, от перенапряжения, на срочных ночных авралах, за которые хорошо платили.

Был он потом парализованный, жил как не жил, долежался до пролежней и сказал однажды с удивлением:

— За всю жизнь, — сказал он, — я не посадил ни одного дерева. Только бумаги перевел — без счета...

Старая хулиганка Фогель была тогда молодой и подолгу разглядывала одряхлевшего Зяму.

Старики ее интересовали.

Старики ее беспокоили.

В стариках она искала себя, будущую.

— Но я сэкономил, — сказал Зяма. — Я сэкономил бумагу. Я писал на обороте черновиков. Одно дерево я наверняка сэкономил. Или два. Это все равно: посадить новое дерево или сэкономить старое. Да, да, — настаивал без уверенности. — Все равно...

Дождичек покапал напоследок на мертвое лицо.

Факелом взметнулась сирень у забора.

На мраморной глыбище по соседству выбито было понизу клеймо мастерской: "Кабановъ, на Мясницкой".

Соскоблили — не иначе — старую надпись, переделали в который уж раз под нового клиента.

На мраморе процарапали — утешением? — "Вечно не живут"...

В шесть двадцать одну отстукивали молоточки по бронзовой наковаленке, и старая хулиганка Фогель начинала плакать.

... Чего ты опять плачешь? — удивлялась всякий раз ее мама.

И она не могла объяснить.

В шесть двадцать одну уходила любимая ее подруга Вера, как сердце рвала надвое, и удержаться не было сил.

Вера прибежала в потемках, под утро, когда соседи еще спали, шушукнулась в коридоре, поцеловала вскользь и убежала суетливо, чтобы больше уже не возвращаться, — в шесть двадцать одну.

Не звонила, не провожала, сюда не писала, — а что?

У Веры муж. Дети. Зять в руководстве. Ей — оставаться.

Старая хулиганка Фогель плакала от злости: за дружбу свою, вывернутую наизнанку, за Веру — любимую подругу, за поцелуй вскользь, в коридоре, за

саму себя, идиотку, что понимала Веру и оправдывала.

Может, и она бы не пришла провожать?..

Вера была нежная, ласковая, с плавными текучими движениями, как речка, прогретая на плесе, и ее любили серьезные, уважающие себя мужчины, потому что Вере можно было довериться.

До шести часов двадцати одной минуты по московскому времени...

Потом была пауза. До одиннадцати сорока пяти.

Будильники не будили и кукушки не куковали.

Встать. Попить кофейку. Натянуть шорты с кофтенкой. Сбежать в магазин, на почту, в банк и вернуться ко времени.

В одиннадцать сорок пять уходил родной брат Грища, и надо было при этом присутствовать...

Ненавистник Гурфинкель сидел у окна и выглядывал на улице знакомых.

— Ваши-то! — закричал радостно. — Опять обделались! Вот вам американцы чего дадут! Сдохнете, Фогель, без помощи, и все ваши сионисты сдохнут!..

— Гурфинкель, — сказала она на ходу. — Вам же ответ скоро держать, Гурфинкель. Экий вы пакостник.

И он захохотал: громко, мерзко и польщено.

— Запасайте крупу, Фогель! Мыло со спичками! Скоро война будет!..

Утро было притихшее. День подступал жаркий. По солнцу уже не стоило ходить, но Фогель предпочитала солнце.

Шел той же дорогой кузнечик Фишер, катил за собой сумку на колесиках.

— Мишу, — сказал. — Подкормить. Завтра ему — с утра на базу.

Для Фишера это было привычно — подкармливать Мишу.

Он ездил когда-то к Мише, на родительский день, пихал в него сытную домашнюю пищу, а по садику

бегала грозная директриса Берта Моисеевна и кричала зычно, тряся подбородками:

— Перекормите — выпишу!

Здесь он тоже ездил к Мише, на базу, в самом начале его службы, и умилялся на ряды машин возле ворот, на расстеленные на травке подстилки и на груды домашней еды, которую родители скармливали детям.

А те ели без остановки и остатки уволакивали в палатки: дети с винтовками...

Папа у Миши заскучал очень быстро, через пару каких-то лет.

По делам грандиозным. По пространствам немержанным. По жизни удивительной, не чета здешней.

Ныл. Придирался. Цеплялся ко всем. Исполдволь выстраивал стройную систему объяснения и оправдания.

— Чего ты скулишь? — говорил ему кузнечик Фишер. — Ты же свободный теперь человек. Тебе не надо никого ругать и ничего не надо оправдывать. Бери билет и уезжай. Вот мой тебе совет.

— Молчи, — сердился тот. — Что ты лезешь со своими советами? Советы дает адвокат. И то за деньги.

Папа уехал. Мама уехала. А Миша остался. И кузнечик Фишер тоже.

Кто-то же должен кормить ребенка, когда он возвращается с войны...

— Фишер, — сказала ему Фогель. — Вам идет ермолка.

И он застеснялся.

— Меня спрашивают, — сказал. — Ты зачем надел? А я и не знаю, как объяснить.

— Не надо объяснять, Фишер. Лишнее это дело. Умный не спросит, а глупый не поймет.

На лестнице, что вела к магазину, стояли двое — Зельцер и Рацер — и шепотом делили будущие должности.

— Вы нам нужны, Зельцер, — говорил Рацер, гля-

дя на сторону. — Мы вас делегируем на всеизраильский съезд. Мы вас кооптируем в президиум. На вас будет культсектор, Зельцер, и контакты с прессой.

— Рацер, — говорил на это Зельцер и пихался пухом. — Я вам не мальчик, Рацер. Я буду заместителем, Рацер, или никем.

— Никем, — соглашался Рацер. — Тогда никем.

Старая хулиганка Фогель не могла себе отказать.

— Вы тут стойте, — сказала она ехидно, — а Штуцер уже сколачивает актив.

— Штуцер!.. — ахнули хором. — Он же не кооптирован! Он же не делегирован!..

И побежали куда-то...

В магазине она начала сердиться.

Всякий раз она сердилась в магазинах — на здешнее изобилие, на тамошнюю скудость, на тутошних жителей, что равнодушно пихают в тележки расфасованные соблазны, и на подругу свою Веру, которая поцеловала ее вскользь, на бедную свою подругу, которой и одним глазком не углядеть всей этой раздражающей прелести.

За прилавком сыры-маслины-селедки стояла знакомая ей девочка. Девочка говорила по-русски, и Фогель в этом углу отводила душу.

— Как у вас насчет дефицита? — спросила шутейно. — Из-под прилавка?

— Из-под чего? — переспросила девочка.

— Из-под прилавка.

— А что это такое?

Старая хулиганка Фогель рассердилась.

Она не любила притворяшек.

— Объясняю, — сказала скрипуче. — Популярно. Есть прилавок. На нем лежит товар. Так?

— Так, — сказала девочка.

— Есть место под прилавком. Там лежит другой товар.

— Какой другой?

— Которого нет на прилавке.

— А почему его нет? — удивилась девочка. — Выложите — он и будет.

— Его нельзя выложить, — сказала Фогель. — Он — дефицит. Он не для всякого.

Девочка подумала:

— Почему не для всякого?

— Потому что его мало, — объяснила Фогель. — Потому что он по знакомству.

— Бесплатно? — спрашивает.

— За деньги.

— За такие же?

— Когда как. Дефицит обычно лучшего качества.

— Лучшего качества кладут под прилавок?

— Да! — закричала Фогель.

— А худшего — на прилавок?

— Да, да!! И не делай вид, что ты не помнишь!..

— Я не помню, — сказала девочка. — Меня привезли сюда ребенком.

И Фогель заверещала от восторга, на весь магазин.

Она хулиганка, ей можно...

Еще со двора она услышала залиvistый звон электрического будильника и поскакала через две ступеньки — по-девчоночьи, вприпрыжку, чтобы поспеть к брату Грише.

Будильник стоял на полу, возле кровати, и орал во всю глотку.

Было на нем — одиннадцать тридцать.

— Рыжий! — сказала. — Опять переставил?

Сунулась из-под одеяла опухшая щека.

Редкие, небритые перья, как у плохо ошипанного гуся.

Веко приподнялось тяжелое.

— Ладно, — сказал. — Завтра помянешь.

У Рыжего есть ключ. Рыжий приходит к ней кой-когда. То вечером, а то и полночь. Утром проснешься, а он тут.

Ей это нравилось.

— Смотри, — сказала. — Царствие небесное проспишь.

Сел. На полкомнаты вытянул ноги.

— Старая, — сказал. — Не надо только парить.

На столе стоял древний патефон, обтянутый клеенкой, с продранными углами, с выдвигаемыми коробочками для иголок, с ручкой для завода, с пластинкой на нем — пыльной и затертой.

— Патефон... — по-детски удивилась Фогель. — Ты смотри! Где взял?

— Купил. — сказал коротко.

— А пластинку?

— С пластинкой.

— Ах, Самара-городок, беспокойная я, беспокойная я, успокой ты меня...”

Сип стоял — не разберешь, но они слушали.

— А на обороте чего? — спросила Фогель.

— Не знаю, — сказал лениво. — Не переворачивал.

Рыжий ничего в жизни не делает после армии.

Рыжему лень.

Когда совсем уж обезденежеет и нету у него на пиво и на кино, идет в “Хилтон”, надевает форменную тужурку и развозит по номерам еду. Здание большое, этажей — пропасть: пока едет в лифте, булочку съест, яблочко сгрызет, пирожок сглотнет — от ихнего изобилия. “Ну, — спрашивает Фогель всякий раз, — чего ел?” И он рассказывает. И кого видит в номерах, каких богачей-капиталистов, и их капризы, и их наряды, и про чаевые в долларах, и еще про немца, чудодея-кондитера, что привечает Рыжего и дает ему доедать вернувшиеся порушенные торты с кремом. А Фогель слушает его и завидует в открытую.

— Шел бы ты учиться, Рыжий, — советует временами.

— На кой? — говорит он.

— Не знаю. Все учатся.

— А я не буду.

– Да кто ты есть-то?

– Рабочий.

– Рабочий?! Рабочий на заводе, а ты – прими-подай.

– Старая, – говорит он на это, – у нас свобода. Я ее реализую, ясно тебе? Я, может, в наемники пойду. Или голодных спасать. Или в джунгли уеду. Мир большой, старая, я еще не решил.

И опять она ему завидует.

Но уже кончался завод, замедлялось движение, и женский голос густел, басил, тягуче выползал наружу из патефонных внутренностей: "бес-по-кой-нааая..."

– О! – сказала. – Одиннадцать сорок пять.

И они задумались.

В одиннадцать сорок пять уходил брат ее Гриша, дедушка Рыжего, которого он никогда не видел, и помянуть его требовалось непременно.

Брат Гриша был полон всякими идеями, которые он распахивал бесплатно и каждому.

Когда он видел что-то, что можно было улучшить, в его голове начинал тюкать молоточек, и тюкал до тех пор, пока Гриша не находил решение.

Такие молоточки тюкали, наверно, в голове у Эдисона и у всех других сумасшедших изобретателей.

Все проходили мимо, ничего не замечая, – или делали вид, что не замечали, – один Гриша вставал столбом, как пес на стойке, при виде того, что можно улучшить.

Это могла быть вилка с пружинкой, чтобы, не трогая руками, сбрасывать на тарелку наколотые котлеты. Это могла быть лишняя дверь в магазине, которую следовало прорубить, чтобы не тискались на входе-выходе. Это могла быть реформа в области правописания: все частицы "не" писать слитно со словом, и тогда не будет многих ошибок.

Углядев однажды вечную очередь в ломбард, Гри-

ша написал письмо в министерство, чтобы не поленились — пристроили к очереди музей мировой культуры, дабы народ зря не стоял, а по мере движения мимо экспонатов овладевал знаниями.

Это были времена, когда шуток не понимали, но Грише сходило с рук.

До поры до срока.

Кончилось тем, что он обратил внимание на всю жизнь в целом и увидел, что ее можно улучшить. В его голове тут же затюкал молоточек и тюкал подряд несколько месяцев, не давая ему жить.

И Гриша придумал наконец, каким способом улучшить всю эту жизнь, что надо сделать, чтобы еще сегодня к вечеру построить светлое завтра.

Он понимал, что не надо соваться с предложениями, особенно туда, где сами все знают, но молоточек тюкал, не переставая, — и он посоветовал.

За ним сразу приехали, его увезли — в одиннадцать сорок пять, держали потом в камере, водили на беседы, записывали всякое слово, — а вдруг, и правда, придумал, вредитель, как жизнь улучшить! — а потом убили...

— Старая...

-- Ну?

— Ты, говорят, все знаешь?

— Что надо — знаю, — сказала Фогель.

— Тогда скажи, — спросил Рыжий, — когда подлость началась, когда кончится?

Она и не удивилась:

— Подлость — она в нас. С нами началась, с нами и кончится.

— В нас — пускай, — согласился Рыжий. — Я свою подлость при себе держу. А как с чужой быть?

Взглянула на него:

— Чего хочешь?

— Хочу знать, — сказал твердо. — Ты. Лично. Прощаешь ту жизнь? Дед бы теперь простил?

— Твой дед, — сказала, -- не судья. Он не прощал,

и он не казнил. Придумывал только, чтобы лучше было.

— Добренькие... — потянул Рыжий углом рта. — Сладенькие... Суки!

И ногой долбанул по столу.

Старенький патефон тяжело подпрыгнул и с жалобным пружинным звоном брякнулся об пол.

— Ты чего?! — заорала Фогель. — Дура бешеная!..

— А ничего! — в ответ заорал Рыжий. — Мой патефон! Что хочу, то и делаю!..

Помолчали.

Поотдувались.

Потом он присел на корточки, завертел ручку, ткнул в середину пластинки, и женский голос заверещал на всю комнату: "беспокойная я, успокой ты меня..."

— Ишь ты, — удивилась Фогель. — Поет...

— Она у меня привычная, — скупно улыбнулся Рыжий...

В пять часов ровно гулко забили настенные часы с маятником, и под их торжественный перезвон пошагала нескончаемая процессия родственников, в наскоро открытые траншеи, с солдатами по бокам и полицаями, и сестры ее — Нюся, Клара и Берта — насадками — впереди всех.

— Когда вместе, — говаривала бывало Нюся, разругавшись у примуса, — это не так страшно. Всем сразу погибать — и плакать некому. Такую награду надо еще заслужить.

Они ушли в траншею, все до единого, землю прикрытые — в награду — от нового ужаса, а Фогель осталась плакать за них, и выбрала сама это время — пять часов ровно — для вечного поминания. Когда солнце уже к закату. И день на ущербе. И надежд не так много...

К вечеру она побежала в тот самый подъезд, зашла в тот самый лифт и с трудом, на цыпочках, дотянулась до последней кнопки.

— Вниз расту, — огорчилась. — Скоро не достать...

Она ходила по чердаку желаний — гордо, спокойно, уверенно, и на груди у нее висела чугунная табличка, похожая на те, что вешают на разные дома-памятники, — "Охраняется государством". И еще что-то — буквами помельче.

— Эй, — сказали ей от угла. — Чего там хоть понаписано?

— Обижать, портить и уничтожать запрещается, — с готовностью сообщила Фогель. — Нарушение карается по закону. Мало ли что? Пусть будет на всякий случай. Умному намек, дураку — кулак.

— Вечно вы, евреи, выдрючиваетесь, — сказали с презрением. — Вы больные. Вы параноики. Вы травмированы, евреи, этой катастрофой и не можете никак вылечиться.

— Мы не больные, — ответила Фогель. — Мы опытные. Нас уже уничтожали в этом веке.

И поправила на груди табличку.

И погуляла по чердаку еще немножко.

— Знаете что, — сказала потом. — Повесьте и вы на себя. Пусть будет у каждого. Я не против... Уничтожать запрещается.

Она бежала по улице, старая, голоногая, в куцей кофтенке и с сигареткой, чтобы поспеть к очередному будильнику, а редкие прохожие глядели ей вслед.

В семь часов сорок девять минут, под вечер, уходил муж ее Павлик, и к этому надо было поспеть.

В окне, на третьем этаже, сидел замороженный старик Бердичевский и неотрывно смотрел на закат.

Тяжелое, черное облако пологом накрывало мир, и в его рваном прогале буйствовало на глазах красное, кровавое, страшное, невыплеснувшейся пока что лавой.

А правее — севернее — небо растеклось над горою до бледноты размытой синькой, и вкрапленные алмазы по склону подрагивали от прогретой за день земли.

— Бердичевский, — горестно сказала старая хули-

ганка Фогель, запрокинув к нему голову, — я разучилась радоваться чужим успехам. Что теперь будет, Бердичевский?..

5

Они ушли от нас в третьем часу ночи, близкие друзья мои, разные друзья мои, всякие друзья мои, а под утро — шести еще не было — опять поскреблись в дверь.

Последнее утро.

Торопливые — не удержишь — минуты.

Мы одевались, умывались, ели на кухне, а они стояли вокруг и смотрели. Пристально и тревожно. И говорили порой ненужное и бессвязное. И давали советы, которые невозможно выполнить. И мешались в тесных проходах, запоминая напоследок.

А потом понесли вещи.

А потом побежали дети.

Провожающие столпились на улице, как при выносе гроба.

А потом и мы прошли по прибраным, опустевшим комнатам, постояли, попрощались взглядом, и я потушил всюду свет.

Прошлое погасло насовсем.

Прошлое — мрак.

Но остались во мраке островки света — любимые места мои. Могилы дорогие, бульвары перехоженные, дома памятные, комнаты, книги, вещи и лица, обтроганные руками, глазами, чувствами.

Все осталось — не заберешь с собой.

Все мое — не отнимешь...

С трапа самолета оглядел поле, лесок, заплаканные под дождем окрестности — и шагнул в расставание.

Жизнь наша — тоска по оставляемому. Вся наша жизнь...

Ностальгия заранее. Ностальгия от рождения. Ностальгия всегда. По дню ушедшему. По солнцу закатившемуся. По весне отцветшей. По траве усохшей. По грозе отгремевшей. По улице пройденной. По другу несостоявшемуся. По молодости своей. По любви.

Тоска по ностальгии?..

Это годы мои — не вычеркнете.

Это дни мои — не отнимете.

Улица моя. Лес мой. Друзья мои. Жизнь моя. Другой ведь не будет.

Я прожил его, это прощание, я получил от него наслаждение и радость, горечь и тоску.

И это надо понять.

Это надо принять.

И захлебнуться полным глотком печали...

На площади, перед супермаркетом, напрыгнул на меня старый еврей, которого я никогда прежде не видел.

Напрыгнул — и сразу в рыдания.

— Запишите мой телефон! И немедленно!

Я записал.

Были у него всклокоченные волосы и тоской налитые глаза.

— И чтобы позвонили! — приказал он.

— Хорошо.

— Все говорят — хорошо! — взвизгнул старик. — Но никто не звонит! Никто!.. Там, в Киеве, у меня не было телефона. "Когда же тебе его поставят?" — кричали они... А теперь есть телефон — и ничего...

Был он как открытый нерв. Такого хоть ударь, хоть погладь — одна боль.

— Может, номера вашего не знают? — осторожно спросил я.

— Знают! Я всем давал. А он стоит, проклятый, и молчит весь вечер.

— А вы сами звоните, — посоветовал я. — Не ждите, пока другие соберутся.

— Нет! — взвизгнул. — Пока его не было, я звонил. Я всем звонил. А теперь хочу, чтобы мне!

”Господи! — простонал я в душе. — Не приведи так состариться, Господи!”

— Я позвоню, — сказал я.

И не позвонил...

Вот ты выходишь однажды на улицу, — а на улице сушь, зной, пламень небес, — канатом тянет назад, в ухоженную для тебя привычность, но ты — через силу — первый ступаешь шаг, за уши тащишь себя, силком и за уши — чтобы не передумать.

Еще можно вернуться назад, восстановить нарушенное, связать разорванное, но путь затягивает, но движение затягивает, но жизнь утягивает, — жалко пройденного, продуманного, жалко написанного.

Ты идешь дальше и пугаешься неузнавания, вида, облика, цвета, вкуса пищи: переперчено вокруг, перегрето, перешумлено и перемусорено, пережестичулировано и недодумано.

Но ты уже окончательно потерялся в неизвестном, и теперь тебе значительно легче...

— Показать вам дорогу?

— Покажите.

И кузнечик Фишер пошел рядом.

— Что бы я делал?! — подскуливал он. — Ах, что бы я тут делал!.. Я бы ходил по улицам и показывал людям дорогу. Ой, это же так приятно! Ведь они же не знают, как пройти и куда. Особенно в новых районах... ”Скажите, как пройти...?” — ”Прямо и налево”. — ”Скажите, как проехать...?” — ”На семнадцатом, потом на тридцать первом...”

· Фишер, — сказал я, — так в чем же дело?

— Погодите, — ответил. — Дайте взобраться на чердак.

Лифт почему-то не работал, и мы пошли пешком. Внизу остались те, у кого были еще желания, но не было сил взобраться по лестнице.

Кто-то застрял в лифте, по пути на чердак, и умо-

лял оттуда, упрасивал, скребся ногтями и колотил ногой.

— Зельцер?! — говорил задавленно. — Это ваши проски? Откройте немедленно, Зельцер, я сделаю вас заместителем.

По чердаку вышагивал пузатый Зельцер — важный и значительный, словно вел за собою потрясенные народы.

Теперь уже он был председателем всех комитетов, какие можно только выдумать, а Рацер сидел в лифте и был, конечно, не в счет.

Он ходил по чердаку, председатель Зельцер, с магнитофоном в руке и включал его всякий раз на свои слова, чтобы не упустить ненароком стоящую идею, которая тут же овладеет массами. На чужие слова он его выключал — экономил ленту.

— Зельцер, — сказал ему Фишер. — Там внизу люди. Пустите уже лифт, если вы такой председатель.

— Не нужно им лифта, — отвечал Зельцер. — Пусть подождут немного. Мы им такую жизнь сделаем на земле — и чердак не потребуется.

— Так у них же нет времени ждать, Зельцер!

На это он уже не ответил.

— Увековечьте меня, — сказал важно. — И немедленно. В прозе. В стихах. В монументах. Такое у меня есть желание.

И его тут же увековечили...

Ходил кругами возле пограничного столба хилый старик в тулупе и для острастки стрелял в воздух.

Возле него — с этой стороны — прыгал на пыльном полу всеобщий ненавистник Гурфинкель и пускал на ту сторону бумажные самолетики.

Этот пускал, а тот их сбивал из берданки.

Влет. Крупной дробью. Только бумага клочьями.

— Гурфинкель, что вы тут делаете?

— Просьба, — говорил Гурфинкель под каждый

прыжок. — Самолетик-заявление. Чтобы назад впустили. Такое у меня неперемное желание.

И пускал очередной самолетик.

— Ничего не знаю, — отвечал старик в тулупе. — У других тоже могут быть желания. Не хуже ваших.

И снова пулял из берданки.

— Пустите его, — сказал я. — Пусть лучше оттуда ненавидит. Все подальше.

— Не пускайте, — сказали с той стороны. — Незачем.

Глядел оттуда, сощурившись, вернувшийся представитель выехавшей народности, губу кусал в раздражении.

— Есть у меня такое желание, — говорил с обидой. — Чтобы вас не было, и земли той не было, и страны не было, и памяти даже не было...

— Вам-то чего? Вы же вернулись.

Подумал:

— А чтобы не царапало.

И Гурфинкель пошлепал восвояси, ненавидя теперь уже и тех, и этих.

— Ваши-то! — крикнул издалека. — Снова обгадились!.. Кипучие, могучие, — а народ накормить не можете!..

И опять меня потянуло в глубины чердака: не остановиться и не остановить.

— Пройти можно?

— Пройти нельзя, — ответил старик с берданкой.

— Да свой я, свой!

— Свой-то свой, а пугнуть все равно надо.

— На, пугай!

— На кой мне тебя пугать? Пристрелить легче.

— В желаниях-то?

— А хоть бы и в желаниях. Я выехал по принципиальным соображениям. Чтобы было кому надзирать и спасать от уклонений.

— Я знаю, кто вы. Вы — пришелец!

Потутился:

– Не исключено. Пришелец с той стороны.

– Мы все пришельцы, – сказал Фишер из своего закутка. – Как нас только местные терпят?

– На нас долг, – ответил пришелец с берданкой.
– Внести единомыслие в здешнее безобразие.

И пульнул по своим.

И тогда я побежал, петляя, через границу, в глубины чердака, а в спину ухали выстрелы, дробь скакала по полу, вернувшийся представитель выехавшей народности ретиво гнался по пятам, чтобы поймать и не допустить, – но я убежал, и я добежал туда, где столик раздвижной, и короб на нем, и заждавшийся Абарбарчук со своей недоходной коммерцией: терпеливый и покладистый.

– Что у вас есть?!

– Все у нас есть, – ответил он. – Эмоции выехавшей народности. Что вы желаете?

– Радости! – крикнул я. – И побольше.

Руку сунул в короб, порылся:

– Радости не советую. Ничего особенного.

– Тогда удовольствие!

Вздыхнул:

– Удовольствие – так себе. Второго сорта.

– Чувство удовлетворенной мести. И побыстрее!

– Не смещите меня, – сказал Абарбарчук. – Откуда? Возьмите лучше сочувствие. Это есть. К кому хочешь.

– Не надо, – говорю. – У самого полно.

– Что же вам предложить? – Задумался. – Отчаяние, страх, тревога – в неограниченном количестве. Скорбь, печаль, жалость – поштучно и на вес.

– Ужас есть?

– Ужас есть. Но не советую. Ужас как ужас.

– Уныние?

– Со скидкой.

– Ярость?

– Подержанная.

– Отвращение?

— Бывшее в употреблении.

— Что же вы? — говорю. — Такая нация, а не накопили?

— Накопили, — говорит он. — Еще сколько! Да все перемешано. Ликование с оттенком сожаления. Гордость с капелькой сомнения. Восторг со стыдом. Блаженство с раскаянием. Предвкушение с нетерпением.

— А это у вас что? — говорю. — В коробке. Перевязано ленточкой.

— Это, — говорит, — нейтральные эмоции. Подарочный набор. Любопытство. Удивление. Безразличие. Спокойно-созерцательное настроение.

— Что же вы молчите! — закричал я. — Этого мне! И побольше! Спокойно-созерцательного!!

И я взял. И прижал к груди. И пошел дальше. И встал у окна — лбом в пыльное стекло.

Безразличный.

Спокойно-созерцательный.

Просто любопытный.

На чердаке — оно можно...

6

Он сидел на стуле возле окна, любопытный старик Бердичевский, и глядел на просыпающиеся горы.

Они проявлялись нехотя и с трудом, укутанные по макушки пуховой пеленой тумана, который медленно сползал в низины, и открывались, наконец, притихшие, заспанные и прекрасные.

Туманы по утрам напоминали ему снежные поля без конца-края, целиной нетронутой, по которым пробежит вот-вот олень в упряжке, или волки цепочкой, след в след, или он сам — одиноким лыжником через увалы.

А потом снег оседал и таял — без следа и без звука, и оставались одни только горы, вечные горы,

как вечно море, как вечно небо, как вечны эти закаты и эти рассветы.

Вот тут-то, у окна, он и понял однажды того, кто приказал высечь море. Такое оно вечное, это море, такие они всегдашние, эти горы, что нам — с нашей куцей, обгрызенной жизнью — только сечь их да сечь...

Вылез из-под дивана пятнистый взъерошенный шерстяной клубок, потерял об его ногу, показал в зевке нежно-розовое небо, отозвался благосклонно на русское "кис-кис".

И за то спасибо.

Приходишь домой, открываешь дверь, а он катится по полу — встречает.

Как-никак, существо, живая душа в доме.

— Папа, ты поедешь первым...

Как заноза, которую не подцепить...

Котенка подкинула ему соседка по этажу, молодая, свободная и неунывающая, обвешанная ухажерами, как браслетами.

— Мотек, — сказала. — Сладкий ты мой! Меня увозят в Эйлат, мотек, — и не скажу кто. Возьми моего котенка, мотек, покорми его, поухаживай, — я тебя люблю.

И пошагала по двору: длинноногая и соблазнительная.

У нее узкие бедра, у соседки, тонкие руки, вечная сигаретка в длинных цеплючих пальцах, джинсы невозможной ужины и легонькая блузка с таким немыслимым вырезом, который вызывал сомнение в необходимости самой блузки.

Старик Бердичевский любил смотреть фигурное катание.

И гимнастику с плаванием тоже.

Он был вдов давно уже и не обласкан, но интереса к жизни не потерял, и голоногие девочки были ему по нраву.

И неприкрытые соседкины прелести — тоже.

— Ты почему не говоришь по-русски? — спросил ее однажды.

— Мотек, — ответила. — Сладкий ты мой! Я знаю шесть языков, — куда больше? Что бы и тебе узнать еще хоть один?

И устыдила Бердичевского.

Щурилась на нее толстуха у подъезда, переливчатая, коричневая, шуршащая, барабаном обтянутая, как жужелица со сложенными крыльями, и прыгала у скамейки девочка, в трусах и маечке.

— Ты почему майку не снимаешь? — поинтересовалась соседка на ходу.

— Я уже большая, — сказала девочка. — Мне нельзя без майки.

— Мне тоже, — сказала соседка. — А в Эйлате можно.

И засмеялась.

Она работала в какой-то конторе, где подсобляли малыми суммами приезжим работникам нездешних искусств, пила кофе, говорила по телефону, и наглядевшись за день на неизвестных до того знаменитостей, спрашивала его вечерами:

— Мотек, — говорила она, — что это вы все — лауреаты, чемпионы, герои и профессора? А простые люди из России не приезжают?

— Погляди на меня, — сказал ей Бердичевский. — Я ноль. Я ничто. Может, один только я из всех приехавших.

И она поцеловала его — бурно и с задержкой, до головокружения и ночных несбыточных грез.

— Когда позволяла фигура, — грустно и по-русски сообщила жужелица у подъезда, — не позволяли средства. А теперь средства есть, но фигуры нет...

Была суббота.

Святой день.

Автобусы не ходили и поезда тоже.

В город не поедешь и на платформе не посидишь.

Бердичевский вышел из дома в новый, незаполненный пока день.

Вот ты достиг, наконец, такого состояния, когда перестало тебя тревожить наступающее утро.

Впервые вышел из нищего достатка, когда вечно чего-то не хватает.

Ничего теперь нет, и ничего больше не потребуется.

Может, это и есть навечно теперь обеспеченная старость?..

Нарядные жены катили коляски к синагогам, где молились нарядные их мужья.

Собиралась за город серьезная компания, загружала в машины провизию, как на длительную экспедицию в район Северного полюса.

Всеобщий ненавистник Гурфинкель сидел возле раскрытого окна и смотрел советское телевидение.

На полную громкость.

На крыше стояла тарелка. В небе крутился спутник. Тарелка ловила его сигналы и ублажала Гурфинкеля статьями нового государственного бюджета Советского Союза. Сколько на оборону, сколько на промышленность и сельское хозяйство, сколько кому и на что — и всего сколько. А Гурфинкель сопел себе за столом, складывал в столбик, на бумажке, все эти цифры, общий подводил итог.

— Гурфинкель, вы чего?

Посмотрел невидяще на Бердичевского, сощурил глаз, сказал с подозрением:

— А где еще двенадцать миллиардов?

— У нас плановое хозяйство, — ответил на это диктор. — Все продумано, все сосчитано, точный во всем баланс.

— Обман, — горестно простонал Гурфинкель. — Всюду обман...

О Господи! Хоть бы перед смертью научиться не стесняться за других...

Шла по улице собака, лохматая и печальная, туго замотанная в ржавую колючую проволоку.

Где-то, видно, залезла по оплошке, а проволока

вцепилась в шерсть, обкрутила шею и ноги, и собака жила теперь так, без надежды на освобождение.

Бердичевский колыхнулся от жалости и пошел следом — распутать.

А собака — от него.

Вышла из-под арки старая хулиганка Фогель, как дожидалась в укрытии, и присоединилась к нему, шаг в шаг.

Собака уходила от домов, в камни, за оливковые деревья, и они шагали следом, дружно, молча, не отставая.

Колючки цеплялись за голые ее ноги, но Фогель терпела.

Тут собака остановилась. Повернулась к ним. Показала клыки.

Эти двое ей не нравились.

Своей настырностью.

— Дура, — сказала Фогель. — Мы же тебя распутать хотим.

Собака зарычала.

— Она вас не понимает, — сказал Бердичевский. — С ней надо на иврите.

— А вы можете?

— Я попробую.

И сказал пару слов.

Собака зарычала еще громче.

— Бердичевский, — сказала Фогель, — вы когда-нибудь закрывали амбразуры?

— Нет.

— Вот вам шанс, Бердичевский.

Солнце припекало уже ощутимо, и хотелось уйти в тень.

Но собака стояла, и они стояли. Собака оглядывала их без особой симпатии да подпугивала то и дело, поднимая губу.

— Интересно, — сказал Бердичевский. — Оказывается, можно жить и в проволоке. Как в передвижной тюрьме.

— А то вы не жили, — сказала Фогель. — Мы сумасшедшие, Бердичевский. Весь век мы живем в тюрьме и не хотим, чтобы нас распутали.

— Я распутался, — сказал он.

— Да? — сказала она.

Это его задело.

— Вы получили свободу? — спросил. — Да или нет?

— Ну, получила.

— Воспользовались?

Подумала:

— Ладно... Чего там? Я зато в Париже была.

Еще постояли. Еще посмотрели.

— Взрослому многое не разрешается в жизни, — вслух подумала старая хулиганка. — Взрослого заваливают грузом обязанностей. Так пусть хоть дети делают, что хотят. Пусть хоть они ощутят на время клоунское состояние упоительной свободы.

И поглядела на него со смыслом:

— Дети... И старики — напоследок.

Шел по камням маленький мальчик, удивительный ребенок, неумолимый и бесстрашный, носом нацеливался беспощадно.

Собака зарычала. Осела на задние лапы. Показала страшные свои клыки.

И тут они увидели чудо.

Мальчик пошел прямо на собаку и положил в ее разинутую пасть крохотную свою ладошку, тонкие, прозрачные пальчики.

Прихватила клыками. Помяла. Придавила с горловым клеткотом. Голову опустила — сдалась. И поджала хвост.

— Вы опоздали, Бердичевский, — сказала старая хулиганка Фогель. — Амбразура уже занята.

Дальше было просто.

Собака послушно поднимала ноги, вертела головой, хвостом — помогала.

Распутали в момент.

— Это ничья собака, — сообщил между прочим ребенок и повел ее за собой.

— Я тоже ничья, Бердичевский, — сообщила Фогель, и они зашагали следом.

Приключение было непредвиденным заранее и оттого особенно приятным.

— Бердичевский, — говорила Фогель, прыгая по камням. — Я вам насолю грибов с капустой. Намариновую огурцов с помидорами. Напеку пирогов — с рисом, с яйцами. Водочка будет, настоенная на травках. Сядете за стол, Бердичевский, станете наворачивать за обе щеки. Хохотать. Ногами топтать от удовольствия. Еда повалится изо рта. Чем плохо?

— Разве что... — засомневался. — А вы умеете?

— Обижаете, хозяин... А наутро — откроете холодильник, нальете пивка в стакан: буль-буль — райская музыка! Первый глоток — наслаждение...

.. Фогель, — спросил подозрительно, — вы пьете по утрам пиво?

— Поживите с мое, Бердичевский.

И пошагала себе под арку.

На лице у нее были конопушки.

На носу.

На руках и на ногах — тоже...

”Нет ничего более цельного в мире, чем разбитое еврейское сердце”.

Кто это сказал?

А вам-то что?

Кому надо, тот и сказал...

7

Миша уходил под утро.

Пяти еще не было.

Попутками — и на север.

Темень. Туман клочьями. Сырость с ветрами. Погода распоганилась: глаз не разлепить и одеяло не откинуть.

Встал.

Разогрел еду.

Сварил кофе.

Разбудил Мишу – а как не хотелось!

Тот одевался, шнуровал ботинки, укладывал мешок – с закрытыми глазами, пухлыми губами, слабой, блуждающей улыбкой, как спал еще под одеялом и сны легкие досматривал.

Живет в квартире, через площадку, Мишина подружка: девочка-очкарик, бывшая московская соплюшка, которую привезли сюда ребенком.

Телефон.

Пыль на столе.

Пальцем – по пыли – торопливо записаны нужные номера, а переписать – некогда.

Соплюшка делает докторат по Талмуду.

У соплюшки книги – на полу, на кровати, на шкафу и повсюду.

Соплюшку зовут в Оксфорд – преподавать.

Фишеру хочется с ней поболтать, но очень уж быстро она бежит – не догонишь.

– Мне этот ваш русский, – сказала ему однажды, – как идишь для бабушек. Вот жизнь моя, кругом меня, а прошлое далеко и меня не касается.

И Фишер расстроился...

Миша засиживается у соплюшки допоздна. Он читает. Она читает. А то поглядят друг на друга. А то засмеются. Как разговаривают молчком.

А утром – не добудишься...

Кузнечик Фишер поцеловал его на пороге и побежал на балкон.

Внук Миша уходил в темноту, в сырость, в туманные завихрения, с тяжеленным мешком и автоматом и мурлыкал себе под нос какой-то мотивчик.

– Ничего, – шептал Фишер с балкона и поджимал озябшую ногу. – Раз поет – это еще ничего...

У лифта было не протолкнуться на этот раз, но Фишер прошел без очереди.

Ему некогда.

Его кресло ждет.

— Следующий!

Дверь приоткрылась позаправдашнему, и втиснулся к нему в закуток всеобщий ненавистник Гурфинкель, смятый и порушенный от непривычных раздумий.

Встал. Поглядел замученно.

— Фишер, — сказал он. — Ну что же это?! Наши-то опять уделались...

Наши? — удивился Фишер. — С каких это пор наши — они же и ваши?

И тихо порадовался.

— Добили меня, Фишер, — плаксиво сказал тот. Втянули в свой сионистский заговор. Что же теперь будет?

Фишер подумал.

Выпрямился в кресле.

Руки уложил на подлокотники.

— Что я вам посоветую? — сказал ребе Фишер. — Знаете что, Гурфинкель, живите теперь так...

И снова меня утянуло воспоминаниями в чердачные глубины, по балкам и под стропилами, в привычную духоту перегретой пыли, но встала стена поперек желаний, бетонная, надежная, непробиваемая, память разгородила надвое.

— Закрывается, — сказал старик в тулупе — берданка отложена за ненадобностью. На переучет желаний.

— А когда откроется? — спросил я.

— А никогда не откроется, — ответил он. — Ошибочка вышла, граждане. Ошибочка нынче исправлена.

— А где же калитка? — спросил опять я, на что-то еще надеясь. — Постучаться.

Нету калитки, — ответил старик с охоткой. Замуровано без возврата.

И тогда я распластался на стене, ухом к шершавому бетону, а оттуда голоса, — или слышалось? — тихие и зовущие.

Уж не Абарбарчук ли?..

Мы не нужны той жизни, нет, мы очень ей нужны!

Мы не нужны тем людям, — зачем мы им? — но им без нас не прожить!

Как древесина, что с омерзением и неохотой принимает в себя чужеродный гвоздь, и терпит его по необходимости, и смиряется, и пропитывается едкой ржавчиной отторжения, но отдает с трудом, когда вырывают, со скрипом сожаления, и держит рубец внутри, вечный рубец-воспоминание...

Как раковина, что принимает внутрь случайную песчинку, песчинку-раздражитель, и отторгает ее, оболочивая, и делает из нее жемчужину — чудо природы, потому что с жемчужиной внутри она может еще смириться, а с песчинкой — никогда...

Как человек, что принимает в себя другого, — когда радостно, когда с корыстью, а когда и по принуждению, — и любит его, и терпит его, и ненавидит его, и из семени его — песчинки выращивает плод — жемчужину, — но и плод... плод тоже тоскует по утробе...

И тогда я отпал от стены, и повернулся круто, и пошагал в обратную сторону: дрогнувший поначалу и утвердившийся.

У чердака два конца.

Два окна у чердака желаний.

Лбом в прогретое стекло: глядеть теперь — не переглядеть, до конца дней своих...

Шел по улице старый мужчина, строгий и ответственный, и на плече у него висела винтовка, чешский карабин М-1, а на рукаве — повязка: "Гражданская оборона".

Шагала рядом с ним старая женщина без винтовки, суровая и неприступная, держала в руке фонарь.

Шли они не спеша. Поглядывали по сторонам. Отмечали подробности. И вышли они на бугор. На самую его вершинку.

И постояли рядком, глядя на закат.

И подержались зачем-то за руки.

— Что же вы молчите, Бердичевский? — говорила старая хулиганка Фогель, и слезы текли по ее щекам. — Говорите уже, не стесняйтесь. У нас и так в этой жизни — убыток от невысказанных мыслей...

Склон холма, обращенный к ночи, был темен уже и суров, на нем не проглядывали детали, лишь редкие зажигались огни, — а по кромке горы все еще безумствовало алое, радостное, счастливое, как любовь напоследок...

Было ветрено на бугре.

Было знобко.

Но они простояли до конца...

Иерусалим,
1984 — 1986 гг.

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1-2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917-1967)
25. Ш. Й. Агنون. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1

29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ
ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:

И. Кауфман. Библейская эпоха; Л. Финкелстайн.
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш. Эттингер
Корни современного антисемитизма

67. А. Сушкевер. **ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ**
68. **АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.** Сборник
69. **СКОПУС.** Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. **ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ**
71. Моше Шамир. **СВОИМИ РУКАМИ**
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. **О, ИЕРУСАЛИМ!**
73. М. Новомейский. **ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ**
74. М. Гесс. **РИМ И ИЕРУСАЛИМ**
75. Ф. Кандель. **ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО**
76. Ф. Баазова. **ПРОКАЖЕННЫЕ**
77. А. Шлионский. **ГОРЫ ГИЛЬБОА**
78. Иехуда Бурла. **ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ**
79. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. **АГАДА**
80. **ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
81. **ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ:** Б. Динур. Исторические основы
возрождения Израиля; С. Дубнов. Письма о старом
и новом еврействе
82. **ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ**
83. Ханох Бартов. **ВЫДУМЩИК**
84. Гилель Бутман. **ЛЕНИНГРАД—ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ**
85. Жак Дерожи. **ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"**
86. Цивья Любеткин. **В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ**
87. М. Стейнберг. **ОСНОВЫ ИУДАИЗМА**
88. А. Кестлер. **ВОРЫ В НОЧИ**
89. **Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА.** Сборник стихов
90. Ада Серени. **КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ**
91. Иехуда Атлас. **ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ**
92. М. Стейнберг. **КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ**
93. Н. Полетика. **ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ**
94. Эли Визель. **ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ**
95. Альбер Мемми. **ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ**
96. Шломо Авинери. **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**
97. **МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ.** Воспоминания
98. Хаим Градэ. **АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)**
99. Луи Финкелстайн. **РАББИ АКИВА**
100. Хаим Вейцман. **В ПОИСКАХ ПУТИ.** Книга 1

101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга
106. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга
107. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС
109. Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ
И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1
111. Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2
112. Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1
Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 1
115. Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ
МИСТИКЕ. Книга 2
116. Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. ВОСПОМИНАНИЯ
119. Оскар Минц. ПРИЗМЫ
120. Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА
121. Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ
122. Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки
израильского офицера
123. Исраэль Таяр. СИНАГОГА – РАЗГРОМЛЕННАЯ,
НО НЕПОКОРЕННАЯ
124. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1
125. Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2
126. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1
127. Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2
128. Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ
129. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР
И ЕВРЕИ. Книга 1
130. Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР
И ЕВРЕИ. Книга 2
131. Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ
132. Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ
133. Ицхак Орен. МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ

134. Андре Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ
135. Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА.
136. Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ
137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление
и развитие. Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление
и развитие. Книга 2

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

Наши книги можно заказать

также по адресу:

Р.О.В. 4140

91041 Jerusalem

Israel